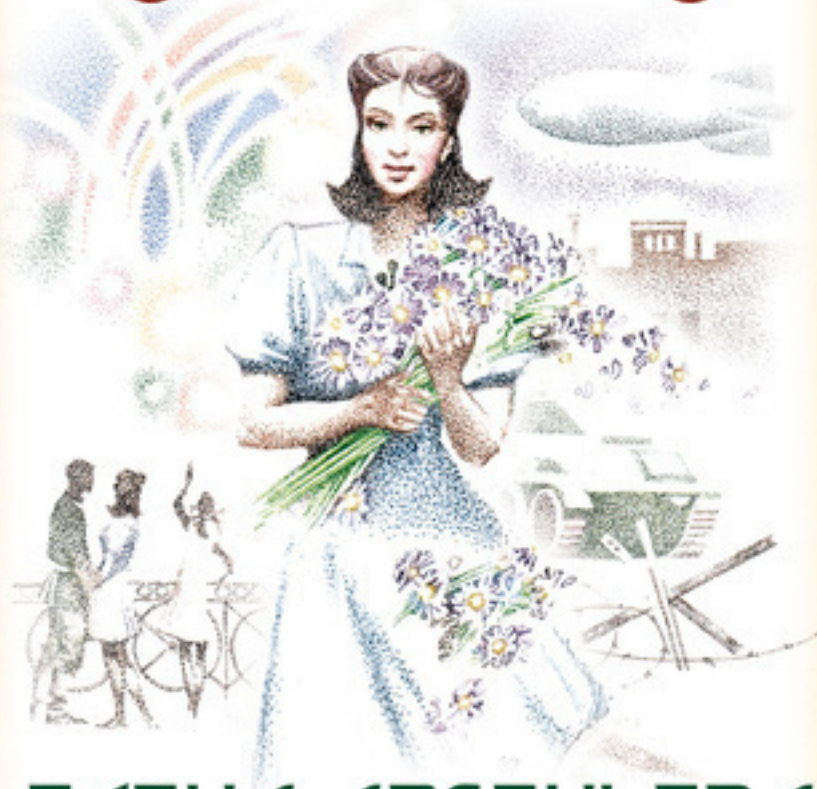




РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ САГА



ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВА

Несбывшаяся весна

Русская семейная сага

Елена Арсеньева

Несбывшаяся весна

«Автор»

Арсеньева Е. А.

Несбывшаяся весна / Е. А. Арсеньева — «Автор», — (Русская семейная сага)

ISBN 978-5-699-20938-5

Сорок первый год. К порогу каждого дома пришла беда – война... Оля Аксакова, как и ее мама когда-то, работает в госпитале простой санитаркой – получить образование не удалось, ведь она дочь и племянница врагов народа. И именно в это страшное время к девушке пришла любовь – горькая, трагичная, но светлая. Но кого она полюбила – убийцу Шурки Русанова, майора НКВД Егора Полякова! Да, того самого Полякова, который, помня давние обиды и мстя за смерть своего отца, не пощадил Олиного дядю, но помог Александре, ее матери, остаться в живых. Одобрят ли Александра выбор дочери – да и жива ли она, сосланная в далекий сибирский лагерь?..

ISBN 978-5-699-20938-5

© Арсеньева Е. А.

© Автор

Содержание

Пролог из 1938 года	5
1941 год	15
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Елена Арсеньева

Несбывшаяся весна

Где-то, когда-то, давным-давно тому назад...

И. Тургенев

Война всё спешит.

Народная мудрость

Пролог из 1938 года

– Ну что вы, товарищ Поляков, – бормотал переконфуженный военком, – зачем было так беспокоиться? Я бы сам пришел... Наше дело служивое...

– Это не беспокойство, а работа, – веско возразил Поляков. – Работа наша такая, понимаете, товарищ Власенко?

Власенко истово кивнул, глядя на капитана с тремя энкавэдэшными «шпалами» на петлицах так преданно, словно по первому его слову готов был вытянуться перед ним во фронт, а потом, печатая шаг, броситься в огонь и воду, или кинуться лбом стену прошибать, или побивать семерых одним махом, или совершить любое подобное деяние.

Не по себе было Власенко, сразу видно. Побаивался он неожиданного гостя. Побаивался – и очень хотел ему угодить.

– Давайте, – сказал Поляков, изо всех сил стараясь, чтобы Власенко не заметил, какая тоска охватила его от трусоватой услужливости военкома. – Давайте выкладывайте ваши наблюдения.

И страшным усилием мышц подавил зевот, разрывающий челюсти. Спал он в последнее время мало и плохо, иные ночи вовсе без сна проводил, и отнюдь не только потому, что у него «работа такая», а просто... мысли мучили всякие. Бессмысленные мечты, бесполезные сожаления, бестолковые попреки. Споры с самим собой, вернее, с тем существом, которое обитает внутри каждого человека и порой начинает его поедом есть. Совестью зовется то существо. Иные счастливики этим «квартирантом», которого хлебом не корми, только дай по душам поговорить, не обременены, однако Поляков к их числу, увы, не принадлежал и оттого измучился от бессонных ночей, ибо совесть живет отнюдь не по московскому, не по энскому и даже не по средневропейскому времени. У нее свои часы, свой календарь и свое время сева и жатвы.

Днем же в сон клонило просто страшно.

Власенко положил на стол простенькую серую папку с обмахрившимися от частого завязывания и развязывания тесемками. Посередине обложки была жирно и крупно начертана цифра **1**, что, видимо, означало первостепенную важность дел, хранимых в папочке.

– Вот они, товарищ капитан, – сказал Власенко, вынимая несколько листочков в клетку и косую линейку, выданных, судя по всему, из ученических тетрадок по арифметике и грамматике и исписанных разнообразными, вполне, впрочем, взрослыми, почерками. – Вы только прочтите, что пишут, гады!

Поляков, привычным напряжением лицевых мышц придав себе заинтересованное выражение, взял один из исписанных «гадами» листков и прочел на нем следующее:

*«В военкомат Свердловского района г. Энска от Семина Ильи Зосимовича
Заявление*

Я, Семин И.З., прошу отправить меня на испанский фронт, чтобы бить фашистских стервятников, наступивших на горло республиканцам. В просьбе моей прошу не отказать».

Далее следовала подпись.

Даже если Поляков и не мог представить себе стервятников, которые кому-то наступили на горло, на лице его сие никак не отразилось. Он деловито кивнул, отложил листок и взял следующий.

Это тоже было заявление в военкомат Свердловского района города Энска, но принадлежало оно перу некоего Попцова Серафима Ивановича, написавшего:

«Прошу зачислить меня добровольцем в ряды интербригадовцев, сражающихся в Испании, потому что я хочу отдать все силы, а если понадобится, и жизнь для защиты наших испанских товарищей и их идеалов, а также для уничтожения фашизма как в отдельно взятой Испании, так и во всем мире».

В таком же духе было написано еще четыре заявления, которые хранились в военкомовской папке. Авторами их оказались Фесин Федор Федорович, Пашков Никифор Павлович, Данилко Сергей Валентинович и Монахин Николай Глебович. Все вышеназванные граждане выражали горячее желание помочь испанским товарищам и не пожалеть никаких сил для уничтожения фашизма, который в одночасье прибрал к рукам власть во франкистской Испании.

– Ну что же, – неопределенно проговорил Поляков, по второму, а потом и по третьему разу прочитывая заявления, – ситуация не кажется мне такой уж тревожной, как вы ее представляете, товарищ Власенко. Ну, разумеется, официально Советский Союз не вмешивается во внутренние дела стороннего суверенного государства, и нет никаких официальных заявлений о том, что наша страна якобы помогает республиканцам. Однако слухи, что в составе интербригад много советских людей, сами знаете, товарищ Власенко, отнюдь не ложны. Другое дело, что посылают в Испанию не каждого, далеко не каждого! Думаю, заявления такого рода лишь проявление романтического, вполне естественного желания бороться за торжество наших идеалов в горячей точке планеты, каковой сейчас является Испания.

Он говорил кругло и обстоятельно, по опыту зная, что эта манера прибавляет ему веса и уважения в глазах вспотевшего от служебного усердия военкома. Всякий номенклатурщик был до одури заболтан всевозможными совещаниями, собраниями и оперативками, а потому моментально соловел и млел, когда при нем начинали изъясняться так, как сейчас делал опытный, профессиональный, отъявленный демагог, лжец и болтун Егор Егорович Поляков.

– Честно признаюсь, я и сам подавал заявление в свою партийную ячейку об отправке в Испанию, – продолжал он. – И получил отказ. Архинеобходим для борьбы с внутренним врагом! Но я вполне могу понять чувства тех, кто эти заявления писал. А что возмущает вас, товарищ Власенко?

– Да вы сами посудите, товарищ капитан, – проговорил военком. – Заявления не простыми гражданами писаны. Заявления от простых граждан у меня в отдельных папочках хранятся. Их стремление исполнить свой интернациональный долг мною вполне уважаемо. Но Фесин, Монахин, Попцов и прочие – отщепенцы, лишенцы, отпрыски врагов народа. Фесина отец, бывший преподаватель Политехнического института, по 58-й осужден! С Попцовым – аналогично. Старшие Семин и Данилко – та же статья, по делу Камышинского речного пароходства проходили, искупают свою вину перед Родиной в исправительно-трудовых лагерях. Отец Пашкова был среди диверсантов с Автозавода, которые замыслили детище первых пятилеток взорвать и остановить выпуск продукции, жизненно необходимой народному хозяйству. Приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение. Наше советское правительство гуманно оставило на свободе их детей, поскольку, согласно указанию товарища Сталина, в нашей стране сын за отца не отвечает. Однако эти исчадия не пожелали встать на путь перековки и исправления, а пожелали отплатить черной неблагодарностью нашему советскому правительству и лично товарищу Сталину за их человечность и доброту. Теперь понимаете?

За те почти двадцать лет, которые Егор Поляков прожил под этим чужим для него именем, а тем паче – за десять лет работы в *органах* он виртуозно научился отсеивать словесную шелуху, на которую столь горазды были советские ораторы, и доискиваться до сути их речей. Случалось, правда, что сути просто-напросто не существовало: одни политические фиоритуры, ничего более. Вот и в речах Власенко он никак не мог найти смысла. Однако показать это военкому было никак нельзя. Еще та публика... В два счета накатает очередной донос – мол, капитан Поляков проявил политическую близорукость и не смог разглядеть в предъявленных ему компроматах опасности для нашего советского правительства и лично товарища Сталина. Или не пожелал? Какие из этого следуют выводы, товарищи?..

Поляков поглядел в небольшие, аккуратненькие, голубые глаза военкома, излучавшие служебное рвение, и осторожно проговорил:

– Так вы думаете, эти заявления...

Он и сам не знал, что следовало сказать далее. Однако Власенко радостно подхватил:

– Ну да! Конечно! Лишь для отвода глаз они пишутся! В расчете на нашу политическую мягкотелость и близорукость! Предположим, направим мы вражеских отпрысков в Испанию, так они там начнут в спину интербригадовцам стрелять, а потом и перебегут к фашистам, чтобы открыто вступить в ряды врагов коммунизма!

«Ай да военком, – подумал Поляков. – Ай да сукин сын. Ай да молодец». На самом деле все это было вовсе не так глупо, как может показаться нормальному человеку. То есть насчет Семина, Данилко и, как его там, Монахина еще вилами на воде писано. Очень может быть, что тут товарищ Власенко проявил не политическую близорукость, а таковую же дальнорукость, увидав то, чего на самом деле и в помине нет. Но сам-то Егор Егорович Поляков подавал свое заявление на отправку в Испанию именно с этой целью: перейти линию фронта и присоединиться к тем самым «врагам коммунизма», о которых говорил Власенко и к которым Поляков принадлежал всю жизнь – и по рождению, и по воспитанию, и по самой сути своей. Получи он возможность оказаться за пределами страны, только его и видели бы!

Разумеется, он не слишком рассчитывал на то, что его страстное, многолетнее желание будет удовлетворено так просто. Он не удивился отказу. Очень многие его коллеги из управления написали такие же заявления и тоже получили отказ. Однако сейчас Поляков встревожился: а что, если и в его действиях какой-то вот такой же сверхбдительный высший чин усмотрел истину? Сознание людей настолько отравлено патологической подозрительностью, что иной раз их посещают в самом деле пророческие откровения!

Как бы нелепо это ни выглядело...

Надо непременно поговорить с Григорием Алексеевичем. Сегодня же. Тот советовал Полякову вторично подать заявление об отправке в Испанию – теперь ясно, что нельзя. Ни в коем случае! Наоборот – нужно показать, что он всецело поглощен работой здесь, на месте. Нужно вьесться по макушку в какое-нибудь дело... Жаль, что сейчас нет ничего достойного под рукой, не на чем проявить служебное рвение. Верин, точнее, Мурзин, – уже отработанный материал, со дня на день отправится по этапу. Под расстрел его подвести так и не удалось. Жива осталась эта сволочь, ради мести которой столько людей жизни свои отдало. Сестра... няня Павла... да и Александр Русанов тоже! Нет, вывернулся Мурзик, с кошачьей ловкостью умудрился уклониться от расстрельной статьи, и Поляков ничего не мог поделать, как ни старался. Конечно, после обработки на допросах от Мурзика одно воспоминание осталось: в беззубого, согбенного, седого старикашку превратился вальяжный, полный жизни красавец, – а все же Полякову этого было мало, мало. Он хотел видеть смерть Мурзика. Хотел видеть, как угаснет жизнь в его глазах. Сам спустился бы в тот подвал на Воробьевке, где «кончали» врагов. Сам разрядил бы свой пистолет в эту тварь...

Не привелось!

Конечно, у него была масса случаев застрелить Мурзика «при попытке к бегству», как в прошлом году Русанова, однако именно из-за случая с журналистом приходилось быть осторожнее. Слишком уж внимательно, со слишком уж озадаченным выражением вглядывался Мурзик в черты следователя Полякова... Если о том, кто он такой, догадался Русанов, почему не мог догадаться и Мурзик? И кто знает, не поделился ли он с кем своими догадками? Пристрелишь его, а потом какой-нибудь ушлый *товарищ по работе*, из тех, что всегда готов подставить ножку другому, возьмет да и начнет копаться в тех старинных отношениях, которые некогда связывали Мурзика и написавшего на него донос Русанова. После двадцати лет молчания, пройдя обработку у товарища Полякова. А откуда он взялся, этот Поляков? Да, конечно, его проверяли, без проверки в *органы* не берут, а все же? Какое странное совпадение, что накануне своего ареста Верин-Мурзин убил проститутку по фамилии Полякова... Уверял, что она нарочно заразила его сифилисом...

Залечили его, сифилис-то. Зря мучилась Лиза.

Все было зря!

Поляков думал о своем, однако лицо и тело, привыкшие за жизнь к самому изощренному притворству, продолжали исполнять привычную роль. Руки перебирали заявления. Глаза придирчиво всматривались в строки. Лоб напряженно хмурился. Рот кривился, словно насмехался над происками вражьих выкормышей, задумавших обмануть бдительных стражей революционных завоеваний.

А может быть, подозрительного военкома ему сам бог послал? Может быть, заняться этими заявлениями, раздуть дело о группе перебежчиков, пожелавших устроить себе эмиграцию под предлогом исполнения интернационального долга, – организовать то самое дело, на основе которого можно продемонстрировать свое служебное рвение?

Противно... Противно, да? Ну что ж, работа у него такая. Така́я работа и та́кая жизнь, что иногда тянет застрелиться.

А почему он до сих пор этого не сделал, интересно? Давно бы уже встретился со своими, а то ведь заждались.

«Нет, – разочарованно подумал Поляков, – не получится. Самоубийцы отправляются в ад, а все мои – мученики безвинные, они в раю. Придется и мне свое избыть, отмучиться!»

И Поляков опять принялся перечитывать заявления.

– Я ведь не просто так догадался об их вражьей сути, – радостно токовал между тем Власенко. – К тому же врагов нынче так много расплодилось, всех фамилий в памяти не удержишь. Но едва только увидел вот это, у меня в голове как будто – щелк! – Военком для наглядности прищелкнул пальцами. – И сразу встало все на свои места. Да вы сами взгляните!

И он сунул Полякову серый листок, на котором неровным и нервным почерком, состоявшим, чудилось, из одних острых углов, а потому читаемым с трудом, было написано:

*«В военкомат Свердловского района г. Энска от Аксаковой Ольги Дмитриевны
Заявление*

Прошу отправить меня добровольцем в ряды интербригады, сражающейся в Испании. Уверяю Вас, что буду честно, добросовестно исполнять все обязанности советского бойца. Я отлично стреляю, а также могу быть медицинской сестрой. Кроме того, я немного знаю испанский язык. В нужный момент готова отдать все силы и жизнь ради торжества наших идей и для восстановления честного имени своей семьи. Quiero morir por Patria».

– Видали?! – торжествующе заорал Власенко, тыча пальцем в листок. – Испанский она знает! Откуда? Разве в наших школах изучают испанский язык? Нет! Явно самостоятельно выучила. Зачем? Готовилась! К чему? К чему, я вас спрашиваю, могла готовиться Ольга Аксакова, как не к тому, чтобы воспользоваться нашей доверчивостью, с нашей помощью перебраться за границу и при первом удобном случае перейти к фашистам?! Вы ведь знаете, кто она такая?

Поляков кивнул. Да, он знал, кто такая Ольга Аксакова. Племянница Александра Русанова, застреленного следователем Поляковым, дочь Александры Аксаковой, спасенной тем же следователем Поляковым от допросов и избиений, но не спасенной им от ссылки... просто потому, что это было свыше его сил. Клятву, данную Русанову, он исполнил так, как мог. *Fecit, quod potuit, faciant meliora potentes*¹, как сказал бы отец.

А может быть, и не сказал бы.

Еще не факт, что он стал бы разговаривать с сыном, застрелившим Александра Русанова лишь для того, чтобы спасти свою шкуру и прикончить такую погань, как Мурзик. Кто его знает, отца, быть может, он счел бы жизнь Шурки Русанова слишком дорогой ценой за месть Мурзику.

Наверняка!

– Племянница врага народа, дочь врага народа, – продолжал пылать благородным негодованием Власенко. – Да еще и любовница врага народа!

– Ну, это не установлено, была ли она любовницей Верина, – неожиданно для самого себя сказал Поляков. – Верин посещал в их доме жену Русанова, свою старинную знакомую. Опять же, следствием не установлено, была ли Любовь Русанова замешана в делах Верина. Дело в отношении ее закрыто.

Ну да, закрыто. И это тоже часть исполнения той клятвы, которую Поляков дал Русанову перед тем, как выстрелить ему в лицо.

– Да я, собственно, не Верина имел в виду, а э... – Власенко пошуршал листками, – Монахина.

– Какого еще Монахина? – нахмурился Поляков.

– Кулацкого отродья, которое прокралось в ряды советского студенчества. Просто беда, как обстояли дела с бдительностью в нашем Энском университете! Монахин дошел до комсорга курса! Правда, нутро свое выказал, не мог не выказать: во время контрреволюционного мятежа на Петропавловском кладбище пытался защитить старшую Аксакову. Затем поддерживал ее дочь... Тут-то на него и обратили внимание. Докопались до прошлого: оказалось, скрывал свое происхождение. В анкетах писал – из беднейших крестьян, а на самом деле – кулацкий сынок, прижившийся под крылышком тетки, вдовы красного командира. Монахина, конечно, исключили из комсомола и тоже выгнали из университета, как и Аксакову. Вот они и спелись на почве общей ненависти к Советской власти. Вот и порешили вместе бежать за границу, да и сообщников в свои ряды, видимо, начали вербовать – среди таких же, как они сами, отщепенцев...

Он торжествующе хохотнул, и в это время в дверь постучали.

– Сказал же, чтобы никто не беспокоил, – пробормотал Власенко, – дисциплинка расшаталась...

Снова раздался стук.

– Наверное, что-то срочное, – сказал Власенко, виновато косясь на Полякова. – Вы решите?

Учитывая, что Поляков был капитаном, а звание военного комиссара Власенко соответствовало майорскому, просьба хозяина кабинета выглядела... Понятно, как она выглядела! Все дело не в звании, а в том, в каком ведомстве состоишь!

Младший по званию снисходительно кивнул старшему: откройте, мол.

Военный комиссар промаршировал к двери и распахнул ее:

– Я же предупреждал, чтобы... Что? Да, я ее вызывал. Давайте ее сюда.

В кабинет вошла высокая девушка в полосатой футболке и короткой синей юбке. На ногах у нее были выбеленные мелом тапочки, и вся она, от этих тапочек и загорелых ног до

¹ Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (*лат.*).

светлых, вьющихся, коротко стриженных волос, казалась воплощением советской комсомолки, только что сошедшей с плаката, призывающего вступить в Осоавиахим, или сдать нормы ГТО, или поехать на ударную комсомольскую стройку – скажем, куда-нибудь в приамурскую тайгу, – или сделаться донором, или записаться добровольцем в ряды молодежного отряда, который возьмет винтовки новые, на штык – флажки и с песнями в стрелковые пойдет кружки... Может статься, именно в таком стрелковом кружке и научилась «отлично стрелять» Ольга Аксакова. Да-да, именно она вошла сейчас в кабинет Власенко и замерла, переводя свои светло-карие глаза с военкома на человека в синей гимнастерке.

Поляков узнал ее сразу, несмотря на то что видел всего дважды, да и то в прошлом году, да и то мельком. После похорон сестры нарочно пришел посмотреть ту подворотню, где ее убил Верин, ну и стоял там, делая вид, что никак не может закурить (хотя в подворотне гулял сквозняк, который и в самом деле постоянно гасил спички). И вдруг мимо него, испуганно косясь, прошла эта девушка. Тогда стоял холодный апрель, на ней была какая-то неуклюжая куртка, но голова непокрыта. Светлые волнистые волосы ее, забавно, по-детски кудрявившиеся на висках, Поляков почему-то запомнил. Девушка держала в руках три веточки герани – розовой, красной и белой – и как-то так странно замешкалась в подворотне, словно хотела положить эти гераньки к той стене, около которой умерла Лиза.

Глупости, конечно. Только Полякову в том помрачении ума, в каком он тогда находился, могло прийти в голову нечто подобное! Зачем бы ей?

Она так и пошла со своими геранями куда-то через площадь, к Свердловке.

Потом он видел Ольгу Аксакову на очной ставке с Вериним. Проводил ее другой следователь, Поляков только присутствовал – ни слова не проронил, держался в стороне. Само собой, удовольствия от допросов Верина он никому уступать не собирался, а очные ставки – пожалуйста, сколько угодно и кто угодно пусть их проводит, все в интересах объективного расследования. Аксакова тогда дрожащим голосом рассказала, что Верин бывал в их доме, потому что жена (вернее, теперь вдова) ее покойного дядюшки, Любовь Гордеевна Русанова, была сестрой невесты Верина, убитой полицией еще в 14-м году.

Ту историю Поляков не раз слышал от Григория Алексеевича, он только не знал, что тот нечаянно застрелил не просто какую-то монашку, а именно невесту Мурзика. Ну что ж, это, наверное, объясняло ненависть, которую Мурзик с тех пор питал к ее убийцам. Личная месть, месть за самого дорогого человека, понятна Егору Полякову, который всю жизнь посвятил именно осуществлению мести за самых дорогих ему людей.

Свою – посвятил, чужие – отдал...

– Вот, товарищ Поляков, – тоном государственного обвинителя Вышинского, выступающего на процессе троцкистско-бухаринского блока, провозгласил Власенко, – вот она, Аксакова. Вот одна из тех, кто подал нам заявление, в котором... – Военком захлебнулся от возмущения. – Ишь, в Испанию она захотела! Посмотрите на нее! За Родину, видите ли, умереть решила! Родина твоя – Советский Союз! Не надо в Испанию ехать, чтобы умереть за него! Зачем тебе в Испанию, а?

Ольга нервно сглотнула, исподлобья глядя на военкома, и зачем-то пригладила кудряшки на левом виске.

– Фашизм, – неуверенно проговорила она, напоминая сейчас девочку, не вполне хорошо подготовившую урок политграмоты, – угрожает завоеваниям социализма как в Советском Союзе, так и во всем мире. Сейчас жертвой его стала Испания, поэтому погибнуть за Испанию – это все равно что погибнуть за Советский Союз. За Родину.

– Вот как они вертеть словами научились! – воскликнул Власенко с оскорбленным выражением лица. – Подо все, понимаешь, теоретическую базу подведут! Так все вывернут, что концов не найдешь! Овечью шкуру носят как свою! Даже блеять наострились! Думают, не слышно будет их волчьего рыка! Ты какие еще слова выучила по-испански, а? «Сдаюсь в плен»

как будет? «Не стреляйте, я сдаюсь» или «Я бежала из Советского Союза и хочу перейти к вам» как по-испански? Ну, говори! Ну!

Власенко всем телом сунулся к Ольге, да с таким напором, что она отпрянула и невольно оказалась рядом с Поляковым, и тот вынужден был поддержать ее, чтобы не упала. Ольгаглянула на него, и он даже вздрогнул, так вдруг показались ее глаза похожими на глаза сестры! Правда, у Лизы они были черными, но сейчас и Ольгины глаза сделались черны от расширенных зрачков. Она была испугана, до смерти испугана!

Да уж, испугаешься тут...

Поляков вздохнул. Черт же дернул эту Ольгу Аксакову написать свое дурацкое заявление! Неужели она и впрямь собралась бежать к фашистам? Нет, глупости, конечно... Хотела хоть как-то изменить свою жизнь. Совершить геройский поступок хотела. Вернуть то, что утрачено, те права, которых лишилась, в одночасье сделавшись родственницей сразу двух врагов народа.

Навоображала наверняка себе, как возвращается в Энск – вся в орденах и медалях, как испанских, так и советских, этакой героиней, – ну и, конечно, мигом вызволяет мать из ссылки, мигом восстанавливает честное имя своего дядюшки... Прямо кино!

Поляков смотрел в перепуганные, широко распахнутые светло-карие глаза, и ему чудилось, будто он читает некую книгу, услужливо перед ним раскрытую. С такими глазами невозможно врать. Чудилось, он все знает об этой девушке. Конечно, на работу ей устроиться сейчас трудно. Чем она живет? Продает старые вещи? Книги? Охтин говорил, у Русановых в старые времена было огромное количество книг. «Почти столько же, сколько у Георгия Владимировича!» Дома в самом деле была огромная библиотека. С некоторых пор Поляков взял за правило заходить к букинистам и перебирать старые тома, но ни одной книги с затейливым экслибрисом «Книги Георгия Смольникова» так и не нашел. Может, кто-то растапливал ими буржуйку в студеные зимы 18-го и 19-го годов, а может, они до сих пор гниют, плесневеют в каком-нибудь подвале. Английские и французские книги по криминалистике. Конан-Дойл, приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса, которого обожал отец. Тома Шекспира и Островского – их читала мама. И Пушкин, всеми любимый Пушкин! «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я, и вот уже мечтою странной душа наполнилась моя» – на этом стихотворении лежала тонкая шелковистая закладка. Отец иногда бормотал, когда был в плохом настроении: «И жив ли тот? И та – жива ли? И где теперь их уголок? Или они уже увяли, как сей неведомый цветок?..» А маленькому Гоше особенно нравилась «Сказка о царе Салтане». Всегда, всю жизнь! Он еще крохой был, когда спрашивал отца: «Князь Гвидон был шпионом? Он переодевался в шмеля, в комара, в муху и летал к врагам выведывать их секреты?» Как хохотал отец! А мама сердилась: «Ты хочешь сделать из сына свое подобие?!» – «Ну да, – отвечал отец. – Не твое же подобие я должен делать из нашего сына, согласись, Лалли! Только свое. Ну, в крайнем случае, Охтина. Или этого чудного мальчишки, Шурки Русанова. Как жаль, что он гораздо старше нашего сына и не подходит ему в друзья! Впрочем, надеюсь, они подружатся потом, когда подрастут».

Знал бы отец... Видел бы он, как валялся Шурка Русанов под окном, неудобно, неестественно отвернув голову от своего убийцы, словно ему было противно смотреть на сына Георгия Смольникова...

А впрочем, очень может быть, что отец все знал и видел. И ему тоже было противно смотреть на сына.

Да. Вот так сложилось.

Мама раскладывала пасьянсы и бормотала себе под нос: «Ну что делать, так сложилось, так карты легли!»...

– Погодите-ка, товарищ майор, – резко сказал капитан Поляков. – Дело тут гораздо сложнее, чем вам кажется. Могу я попросить у вас разрешения воспользоваться на несколько минут вашим кабинетом?

У Власенко сделался ошалелый вид, однако военком послушно убрался из кабинета и даже дверь за собой прикрыл.

Ольга смотрела исподлобья.

– Скажите... – начал было Поляков.

– Что? – тихо произнесла Ольга. – О чем вы хотите спросить? Да и зачем спрашивать? Вам ведь и так все ясно. Я не знаю, как такой бред в голову мог прийти, но разубеждать вас не стану. Не все ли мне равно, что вы про меня думаете! Если уверены, что я и правда собралась в Испании к фашистам перебежать, то никакая сила вас не заставит мнение изменить. Что я, не знаю, что ли? А хотите правду? – В ее затравленном взгляде внезапно появилась насмешка. – Я ведь заранее знала, что никакой Испании мне не видать как своих ушей. Да и не хочется мне туда ехать, и я наврала насчет своих стрелковых талантов, стрелять я вовсе не умею, я страшная трусиха, выстрелов боюсь до смерти, аж заикаться начинаю. Хорошей медсестрой могла бы быть, что верно, то верно. Меня мама многому научила. Лучше всякого техникума! Когда меня из университета выгнали, я хотела устроиться в госпиталь, где она раньше работала. Кем угодно, даже не сестрой, а санитаркой. Не взяли! Ну да, конечно, разве можно было меня взять на работу, если мамина фотография висела там в вестибюле под черной надписью: «Мы не разглядели врага народа! Будьте бдительны!» Ох как любят у нас такие вот надписи! Про меня было написано, что поганой метлой надо из университета гнать, про маму – что ее не разглядели... Про бедного Колю Монахина тоже, наверное, какую-нибудь гадость написали, когда выгнали из университета только за то, что он мои книжки в библиотеку отнес.

– Монахин, насколько мне известно, скрывал свое происхождение, – перебил Поляков.

– Но это же его отец был кулаком, а не он, не Колька! Разве он виноват? Я не знаю, конечно, кто был ваш отец... наверное, тоже бедняк, или рабочий, или революционер, не знаю... но вы только представьте, что он оказался бы, например, учителем, инженером, юристом, врачом, а когда началась в 14-м году война, его забрали бы в армию, и он бы в царской армии служил – а что было делать, дезертировать, что ли?! И представьте, что вам надо всю жизнь за это отвечать. Отвечать, расплачиваться за то, к чему вы вообще не имеете никакого отношения! Неужели вы на всех углах кричали бы: да, мой отец был тем-то и тем-то, он служил в царской армии, поэтому я самого что ни на есть буржуазного, дворянского, вражеского происхождения? Ну и что было бы с вашей жизнью? Были бы вы не капитаном НКВД, а каким-нибудь дворником, сторожем, не знаю. А может быть, вас давным-давно убили бы как классового врага. Нет, ну вы честно скажите, если бы у вас было сомнительное происхождение, вы бы кричали о нем на всех углах, а?

Дались же ей эти углы...

– Оставьте в покое мое происхождение, – холодно ответил сын бывшего начальника сыскной полиции города Энска, – речь сейчас не о том. Расскажите, какие отношения вас связывают с Монахиным и со всеми остальными, кто вместе с вами подал заявления.

И Поляков потряс перед глазами Ольги Аксаковой тощенькой пачечкой листов.

Она смотрела озадаченно.

– Вообще-то я не знаю, кто еще и какие заявления подавал. Мы с Николаем написали, да. Думали: вот отправят нас в Испанию, мы там на совершаем подвиги, и, когда вернемся, всем будет наплевать на наше происхождение, на какие-то прегрешения наших родственников, в счет будет идти только то, что мы сами сделали, чего мы сами стоим. Только наши собственные судьбы!

Поляков кивнул.

Он угадал.

– А теперь Коля уехал, – продолжала Ольга. – Когда мне повестку принесли – сюда, в военкомат, явиться, он решил, что меня обязательно арестуют. Прямо здесь. Сказал, что надо скрываться. А куда мне скрываться, если у меня дома дед больной и тетя Люба? Не могу же я их бросить. Колька сказал, что уедет куда-нибудь на молодежную стройку, где его никто не знает, и все там с нуля начнет, всю жизнь. А я, сказал, дура, раз иду в военкомат, я оттуда в «черном вороне» уеду, под конвоем. Наверное, он прав был, да? Вы меня арестуете? Значит, мне тоже надо было бежать? Но я же хотела по-честному... Я не хочу жить под чужим именем, не хочу прятаться и бегать. Я просто хочу работать, только и всего. Хотя бы санитаркой в госпитале... Потому что мне нужно кормить деда и тетю Любу. У них никого нет, кроме меня!

Голос Ольги сорвался, она умолкла. Поляков понял: боится заплакать и показаться жалкой.

Ей стыдно быть жалкой перед человеком, который убил ее дядю, чтобы спасти свою жизнь, и который потом рисковал этой жизнью, чтобы избавить ее мать от побоев и пыток на допросах.

Поляков вздохнул.

Слишком тяжкий груз он взвалил себе на плечи перед тем, как выстрелить в Шурку Русанова, вот что. Теперь неси его всю жизнь!

«А вот интересно, выдал бы меня Русанов, если бы остался жив? – подумал он раз примерно в сотысячный за прошедший год. – Или промолчал бы?»

Вопрос, в общем-то, был пустой. Ответ Поляков знал заранее...

– Идите домой, – сказал он угрюмо, отворачиваясь от Ольги и небрежно запихивая в папку заявления. Впрочем, одно из них – поступившее от гражданки Аксаковой – Поляков сложил маленьким квадратиком и сунул в карман гимнастерки. И заботливо застегнул клапан. – Завтра сходите к начальнику госпиталя. Думаю, на работу вас возьмут – санитарки всегда нужны. О разговоре нашем не болтайте. Понятно? Ну идите. Идите же!

Она помедлила мгновение, издала какой-то странный звук, не то всхлипывание, не то сдавленное «спасибо» – Поляков толком не разобрал – и выскочила из кабинета.

В ту же минуту из-за двери послышалось грозное военкомовское:

– Куда?!

Ну разумеется, Власенко все это время топтался в приемной. Подслушивал небось, прильнув ухом к двери. Да и ладно, дверь тяжеленная, дубовая, да еще и дерматином обитая, чтобы, не дай бог, ни одно из секретных сведений, которыми товарищ военком в своем кабинете обменивался с сотрудниками, не просочилось бы наружу и не стало достоянием врага.

«Помни, тебя подслушивает враг!» – такой плакат висел в военкомате около поста дежурного.

Да где они только не висели, эти плакаты!

Поляков выглянул в приемную и увидел Власенко, который схватил за руку Ольгу Аксакову. Выражение лиц у обоих было ожесточенное: Власенко выкручивал девушке руку, силясь ее удержать, ну а Ольга пыталась руку вырвать.

– Отставить, – негромко сказал Поляков, и военком выпустил Ольгину руку, словно она внезапно раскалилась добела. – Идите, гражданка Аксакова. Идите и помните, о чем мы с вами договорились.

Ольги мигом не стало в приемной.

– Так, – сказал Поляков, возвращаясь в кабинет и беря со стола папку, – документы эти я у вас забираю. Посмотрю на досуге, проверю каждого из подавших заявление. Не исключено, что вы окажетесь правы в своих подозрениях. Впрочем, не станем делать скороспелых выводов. Что же касается Аксаковой... – Он значительно помолчал, глядя в глаза военкому. – Никаких разговоров о ней не вести. Ее заявление, Испания – все забыто. Вам понятно?

– Так точно, – вытянулся Власенко и сделал оловянные глаза. – Все понятно!

Ему и в самом деле было все понятно. Чего тут понимать? И дураку ясно, что за несколько минут ушлый капитан вербанул перепуганную девчонку в осведомители НКВД. В секретные сотрудники, в сексоты. Правда, Власенко совершенно не понимал, какой может быть секретный сотрудник из Ольги Аксаковой, но в данном случае товарищу Полякову виднее.

А его, военкома, дело служивое. Сказали молчать – он и будет молчать. Не о чем беспокоиться!

И Власенко повторил – словно присягу принес:

– Так точно!

Из обращений Энскоггородского комитета обороны:

«Товарищи! В эти дни каждый из нас должен помнить, что жизнь его принадлежит Родине. Наша Родина в опасности, и никогда еще опасность не была так велика».

1941 год

– А точно видели они там парашютистов? – спросил водитель Тарасов, и на Полякова глянули из зеркала заднего вида его узкие веселые глаза. – А, товарищ майор? Видели? Может, помстилось?

– Откуда у тебя лексика такая старорежимная? – удивился тот. – Помстилось... Ну надо же!

– А что тут старорежимного? – удивился Тарасов. – Я ж из Сергачевки родом, там все так говорили. А как же надо было сказать?

– Ну, показалось, почудилось, померещилось... – предложил широкий выбор Поляков.

– Да ладно, как скажете, товарищ майор, – согласился Тарасов. – Я говорю, были парашютисты или нет? Может, бабенкам в Запахице показалось, почудилось, померещилось, на худой конец, помстилось – парашютист, мол, в небе летит. А там было облако или птица. Вот и выйдет, что зря скатаемся в такую даль.

– Ничего не зря, успокойся. – Поляков откинулся на спинку, поднял воротник шинели: октябрь на исходе, уже сильно пробирало студеными, ну просто-таки зимними ветрами, а «эмка» – не слишком-то роскошная защита от холода. Погода стояла мрачная. «Снова снег пойдет, что ли? Ишь, тучи какие бегут – прямо-таки фашистские тучи!» – Донесение ведь не от бабенок, как ты говоришь, поступило, – продолжил он, – а от начальника райотдела милиции. Ему вряд ли могло что-нибудь помститься, в жизни не встречалось мне еще начальников райотделов, склонных видеть то, чего нет. Скорей они то, что у них под носом, поленятся разглядеть, а никакими иллюзиями себя обременять не станут. Это раз. Кроме того, мне все равно нужно в тот район. Знаешь, где укрепления строят? Ну, около Кузнечной пристани? Туда заедем.

– На возвратном пути, что ли? – уточнил Тарасов.

– Нет, сначала в Кузнечную, потом в Запахицу.

Тарасов кивнул и спросил:

– Хотите анекдот, товарищ майор?

– Ну, давай.

– Какое наказание избрать для Гитлера после его свержения? Заставить его изучать «Краткий курс ВКП(б)» на древнееврейском языке.

Пока Поляков старательно усмехался (он уже не раз слышал этот анекдот, быстро обросший бородой), Тарасов на развилке дорог свернул налево – туда же, куда указывал покосившийся столб с прибитой доской и надписью на ней: «Пристань». Слово «Кузнечная» было уже давно съедено временем, но в нем, строго говоря, никакой надобности не было: другой пристани в здешних краях не имелось. Ни настоящей, ни символической. Ни рек здесь не протекало, ни озер не лежало, ни, само собой, морей не бушевало. К чему приставать, когда вся вода в колодцах и искусственных прудах? Поляков диву давался, как можно было селиться людям не около большой воды. Он-то прожил жизнь на Волге, без нее город был бы как будто и не город. Ну а тех, которые Кузнечную пристань основали, чего в голую степь понесло?!

С другой стороны, мало ли какая злая воля заставила здесь, именно здесь поселиться кузнецов, давших имя деревне? Вот сейчас в Казахстане, по слухам, города новые стали строиться, а ведь там совсем уж голая, мертвая, глухая степь. И ничего, живут люди! Хотя и не по своей воле туда пришли, а именно что по злой.

Думать об этом не хотелось, и Поляков даже обрадовался, когда Тарасов снова заговорил. Вообще-то он решил поехать именно с Тарасовым потому, что среди молчаливого племена шоферов из гаража НКВД (иногда казалось, у них у всех языки урезаны, а неперменные «так точно» или «никак нет» произносит некое устройство, спрятанное в кармане шинели)

тот был самый общительный. Почти сотню верст отмотать в полном молчании – утомительно, если не сказать больше. Непрерывное общение с самим собой (вернее, с той своей ипостасью, которая звалась Егором Егоровичем Поляковым) осточертело. Правда, порой разговорчивость Тарасова переходила в откровенную болтливость. Ну, ничего, послушаем, чем народ живет, чем дышит.

– Вчера моя с Сенного базара пришла злая-презлая, – вещал водитель. – Три часа за молоком в очереди стояла. А цены нынче знаете какие? Десять рублей литр. Помню, как война началась, ужасались: два рубля литр, с ума сойти! А теперь вон по десять берут, да еще и в драку.

Поляков, само собой, продукты получал в распределителе, питался по большей части в служебной столовой, на базар если и заглядывал, то чтобы купить ягод или яблок, но с начала войны не был там ни разу: не до того. Давал деньги соседке тете Паше, она и приносила ему смородину и малину. Однажды, еще в августе, тетя Паша прибежала с базара с круглыми глазами и сообщила о ценах: молоко – четыре рубля литр, мясо – 26—28 рублей за килограмм, яйца – по 15 рублей десятков, масло – 50 за килограмм, но его нет даже за такие деньги. Картошки нет, а если кто привезет несколько мешков, то мигом образуется очередь в сотни людей. Еще бо́льшая очередь выстраивается за капустой. А теперь, значит, снова все вздорожало. Ну да, в магазинах-то почти ничего не стало сразу, лишь только Энск объявили на угрожаемом положении.

– Да вроде бы регулируют базарные цены, я что-то такое слышал, – проговорил Поляков.

– Регулируют? – возмущенно полуобернулся к нему Тарасов. – Знаете, как их регулируют? Моя рассказывала. На Мытный рынок пришла милиция – это еще в августе было – и объявила: на все продукты установлены твердые цены. Такса по-другому. Молоко будет стоить два пятьдесят, мясо 18 рублей и так далее. И знаете, что сделали колхозники? Сбежали, не пожелав продавать по такой цене. Моя говорила, что некоторые выливали молоко на землю со словами: «Не нам и не вам».

– Вот до чего сильны собственнические чувства! – покачал головой Поляков. – Уж, казалось бы, раскулачивали, раскулачивали, ссылали, ссылали, а все равно остались на селе люди, которые прежде всего о своем кармане заботятся!

Лицо Тарасова, которое он видел в зеркальце, вдруг стало угрюмым.

– Не о своем кармане, – сказал он тихо, – о государственном. Знаете, какие у них налоги? Они сами яиц не едят: все на базар, чтобы деньги для уплаты были. Чушку зарежут – себе только ливер оставляют, а тушу на базар. У кого скотины нет, продают то зерно, которое получают на трудовни. А молоко? Да небось в Энске с молоком легче, чем в иной деревне. А теперь, как война началась, налоги еще больше стали. Вот и...

– Не вижу логики, – пожал плечами Поляков с холодным выражением. – Если всем так нужны деньги, зачем выливать молоко на землю? Не лучше ли продать и хоть сколько-то заработать? Нет, это вредительство, сущее вредительство, и ты меня, Тарасов, даже не пытайся разубедить.

Тарасов что-то невнятное пробурчал и примолк.

«Ага! – ухмыльнулся про себя Поляков. – Получил?»

Само собой, в управлении все друг на друга стучали, снизу, так сказать, доверху. Люди сведущие и приметливые легко могли вычислить, к числу чьих личных осведомителей принадлежит тот или иной сотрудник. Тарасов, поговаривали, стучал всем заместителям начальника управления, которые потом торопились принести в клювике информацию товарищу комиссару первого ранга, не зная, что Тарасов стучит также и ему лично. Да, ходили такие слухи... Особенно изошрялась в шпионаже за сотрудниками обслуга управления. Поляков с легкостью уворачивался от хитренских, но незамысловатых проверок, которые ему учиняли машинистки, официантки или телефонистки, порою посещавшие его постель (ну а как же, ведь он

был довольно молодой еще мужчина – тридцати четырех лет, и хоть не собирался жениться, но обета воздержания отнюдь не давал). С товарищами по ремеслу он держал ухо востро, ну а Тарасов с его дурацкими анекдотами да с разговорами о грабительских ценах и несчастных колхозниках был для него прост, как русская печь. Впрочем, русская печь в представлении Полякова была явлением куда более сложным по конструкции, чем водила из энкавэдэшного гаража, который желал не просто выжить в трудное время, но при этом испортить жизнь как можно большему количеству людей.

А как же, ведь за стукачество приплачивают, и ощутимо приплачивают!

Поляков вспомнил кучера Филимонова, некогда служившего у отца: казенного кучера, который управлял лошадьми из конюшни губернской прокуратуры. Отец в то время служил в прокуратуре следователем – это уже потом, позже, незадолго до 14-го года, он стал начальником сыскной полиции и получил возможность разъезжать на служебном автомоторе. Гоша привык к Филе Филимонову и скучал по нему. Разве можно было представить Филю, доносившего в жандармское управление на Георгия Смольникова, который иной раз пускался с ним в весьма откровенные беседы, как на служебные, так и на сугубо личные темы? С другой стороны, доживи Филя (его убили во время империалистической войны где-то в Восточной Пруссии) до наших времен и окажись на службе в управлении НКВД, еще неведомо, какой, с позволения сказать, реорганизации подверглась бы его честная, неподкупная натура. Может быть, и Филя стал бы таким мелким провокатором, как Тарасов.

Времена и нравы нынче таковы, что к честности и неподкупности вовсе не располагают. Наивный мечтатель Григорий Алексеевич Охтин, правда, был убежден, что с началом войны начнется возрождение русского духа, уже почти истребленного в народе за годы большевистского владычества, однако Поляков никакого такого возрождения не наблюдал. Да и не верил в его возможность, если честно. Ничто не изменилось! Базарные торговцы по-прежнему ломили цены, Тарасов и ему подобные по-прежнему стучали на неосторожных сотрудников, а те, повинаясь служебному долгу, по-прежнему совершали рейды по области, чтобы держать руку на пульсе народных масс, проверять их умонастроение и преданность идеалам Ленина – Сталина. Все обыденно и обыкновенно! Не до души, знаете ли, тем паче что с войной прибавились хлопоты по части обороны. Все-таки область стала прифронтовой, угроза осады и захвата Энска стремительно накатившей вражьей силой отнюдь не воображаема, а вполне реальна. А потому строительство оборонительного рубежа вокруг города и по правому берегу Волги было признано одной из первоочередных задач государственной важности. И это значило, что работы в НКВД прибавилось – сверху донизу. Теперь каждому ответственному сотруднику было вменено в обязанность время от времени посещать те или иные районы строительства укреплений с проверкой.

Гитлер был укушен в ногу бульдогом,
Во дворце ужасный был переполох.
Гитлер эту ногу почесал немного,
А бульдог сбесился и тотчас издох! —

потихоньку напевал Тарасов, изредка косясь в зеркальце: слышит ли начальство? Улыбается ли?

Начальство, конечно, слышало, но не улыбалось: думало свою думу и имело угрюмый вид.

«Может, ему анекдот рассказать новый?» – подумал Тарасов, однако дорога была ужасная, машина начинала порою идти таким юзом, что водителю стало не до анекдотов.

В Кузнечную пристань Поляков стремился вот уже месяц – с тех пор, как туда отвезли мобилизованных на строительство укрепсооружений. Однако показать свой интерес остере-

гался и предлога приехать сюда найти не мог. Но вот поступил сигнал о том, что поблизости произошло чрезвычайное происшествие: над Запахиной кружил немецкий самолет (они часто прорывались в область, хотя бомбить еще не бомбили) и, возможно, сбросил парашютиста или какой-то груз – пока не выяснено. Немецкие разведывательные самолеты появлялись в небе часто: следили за передвижением транспорта, кружили над промышленными объектами, разбрасывали листовки. Неминуемо должны были сбросить и диверсантов, но пока известий ни о чем подобном не поступало. Честно говоря, Поляков был преисполнен такого же скепсиса, как и Тарасов, и считал, что бабам из Запахины парашютист померещился, однако сам настоял на необходимости проверки. Ведь рядом Кузнечная пристань, куда он рвался уже почти месяц!

– Эха! – воскликнул вдруг Тарасов и затормозил. – Вы только поглядите, товарищ майор! Карти-ина!

Картина с крутого склона, на котором замерла «эмка», открывалась и впрямь внушительная: повсюду, насколько хватало глаз, пролегали траншеи, в которых работали землекопы. Никакой техники – ни тракторов, ни бульдозеров, ни экскаваторов, – только люди. Очень много женщин – в ватниках, юбках, по большей части в сапогах, кое-кто – в ботинках, даже в валенках с калошами. Головы обмотаны платками, лица угрюмые, на руках брезентовые рукавицы или обыкновенные варежки. В руках – ломы, лопаты, кирки. Все в грязи: снег, выпавший очень рано, еще 19 октября, смешался с землей. Поляков подумал, что вторая танковая группа Гудериана находится сейчас всего в 180 километрах от юга-западной границы области. Отсюда, от Кузнечной пристани, до той границы около сотни километров. Угроза прорыва вполне реальна. Надолго ли задержат танковую армию эти валы, брустверы, окопы? Он знал, что из-за спешки и наступивших холодов (земля неудержимо промерзала, копать становилось с каждым днем все труднее) рвы обычным способом, по всему объему, уже перестали отрывать, теперь их делают более узкими и глубокими: шириной до двух и глубиной до трех метров. Теоретически в сочетании с земляным валом между рвами возводимые сооружения должны послужить препятствием для танков. Но насколько серьезным? Смогут ли они задержать колонны Гудериана дольше, чем на час-другой? И что станет с работающими здесь людьми в случае прорыва? Кто-то позаботится о том, чтобы заранее вывезти их, или они будут брошены на произвол судьбы?

В Стране Советов, которую Поляков привык ненавидеть, он прожил бо-льшую часть своей жизни и знал ее достаточно хорошо. Да кому они нужны, все эти женщины, девушки, пожилые мужчины, юноши, мобилизованные в учебных заведениях, на заводах, в больницах Энска, пригнанные сюда с колхозных полей, где закончилась в рекордные сроки уборка урожая? Кто защитит их?

Да никто, был убежден Поляков. Хорошо, если при угрозе прорыва сюда успеют перебросить воинские части, которые вступят в бой с фашистами и задержат танки. Тогда у строителей появится хоть какой-то шанс спастись. Но пока переброска произойдет... Нет, войска опоздают как пить дать. Да и нет сейчас в области частей, способных сдержать натиск танковой армии фашистов. Вот уж что Поляков знал совершенно точно.

В случае чего эти люди обречены.

Тоска вдруг подступила к горлу – как уже не раз случалось с начала войны. Так было, когда он слушал неуклюже составленные сводки Совинформбюро. Иной раз, казалось, они носили просто издевательский характер. Сообщалось, что отдали, положим, Орел, или Мариуполь, или Сталино – сердце Донбасса, Киев, Кривой Рог, Николаев, Днепропетровск, Одессу. Невыносимо тяжелые потери, но о них больше не говорилось ни слова, зато подробно описывались действия какого-нибудь партизанского отряда, который уничтожил... двух немцев. Конечно, это была все та же самая жизнь впотьмах, которую еще в 17-м году устроили для народа большевики, и привыкнуть к этому следовало давно. Поляков и привык, но сейчас...

сейчас не мог найти себе места от обиды за народ, который вот уже почти четверть века влачил на себе позорное ярмо – и не хотел освободиться от него.

Тоска брала его, когда он слышал на набережной Жданова плач женщин, провожавших сыновей и мужей на фронт. Мужчины шли и пели. «Чего они поют?! – зло думал Поляков. – Неужели станут умирать за *эту* Россию?»

Тоска брала, когда он смотрел вслед вереницам автомобилей, шедших через Энск из Москвы. Столица спешно эвакуировалась, причем первым, похоже, уезжал руководящий состав: шли все больше «ЗИСы» да «эмки». Какой-то мальчик на улице сказал: «Папа, Москва приехала в Энск. А где же теперь будет Энск? Его совсем не будет?»

Никто даже не улыбнулся – люди стояли с угрюмыми, отчаявшимися лицами. Поляков мельком поймал свое отражение в витрине магазина – у него было такое же выражение неизбывной тоски в глазах, как у всех остальных.

И не передать словами, какая тоска взяла Полякова, когда он случайно услышал в расщелине разговор двух военных командиров о том, что в Энске открылись после войны новые нелегальные бардаки с девочками шестнадцати-семнадцати лет. Плата за ночь с закуской – сто рублей. Те командиры собирались ночью идти в один из таких домов.

Поляков немедленно потребовал предъявить документы и по телефону вызвал милицию. Ну что ж, одним притоном в Энске станет меньше, но что изменится?!

Потом он ругал себя за то, что ввязался в это дело. По идее, чем хуже, тем лучше! И не наплевать ли ему на каких-то чужих, незнакомых девочек-проституток – ему, брату своей сестры?

Он не почувствовал никакого облегчения, арестовав двух потаскунов с командирскими петлицами. Но, хоть убейся, знал, что не мог поступить иначе. Не мог справиться с собой.

И точно так же он не мог справиться с собой и со своей тоской сейчас, глядя на огромную массу людей, в случае чего обреченных на смерть.

Впрочем, Поляков тут же уверил себя, что из всей толпы возможных жертв его интересует только один человек, которого он собирается найти здесь и увезти с собой.

Он не сомневался, что придется трудно. Нет, не потому, что этого человека могут не отпустить: в конце концов, Поляков обладает достаточными полномочиями, чтобы под предлогом государственной (а как же, не больше и не меньше!) необходимости забрать с собой всего одного человека. Другое дело, что тот сам может отказаться ехать. И нет такой силы, которая заставила бы его переменить решение.

Но все же Поляков надеялся, что уговорит его уехать отсюда.

Только надо отделаться от Тарасова. Хотя бы ненадолго.

– Слушай, брат Тарасов, – сказал Поляков задумчиво, выбираясь из автомобиля. – Давай-ка смотайся в село, поищи какое-никакое строительное начальство и волоки его сюда. А я посмотрю, как тут дела обстоят, побеседую с народом. Давай-давай. А то знаю я эту руководящую братию, начнут глаза цифрами замазывать. Я только себе доверяю.

И, не дожидаясь ответа, пошел, вернее, поехал с косогора по крутому скату.

Он рассчитал правильно: Тарасов следом не побежит, не бросит машину без присмотра. Поедет в село, никуда не денется! Час на рекогносцировку есть, не меньше часа.

Было скользко чертовски, или просто место для спуска Поляков выбрал неудачно. Он дважды упал и спустился в долину отнюдь не таким щеголеватым майором, каким вышел из «эмки», – шинель на спине была извожена до безобразия. Впрочем, все, копающие вокруг, были куда грязнее. На сапогах налипло по полпуда земли, и Поляков видел, что многие из земляков то и дело, прежде чем поставить ногу на лопату, ее же лезвием счищают грязь с подошв, рискуя разрезать обувь.

– Ах ты, черт! – жалобно воскликнула неподалеку какая-то замурзанная маленькая женщина. – Опять галошу пропорол!

Ну вот, пожалуйста, как он и думал.

– Скажите, товарищ, – подошел к ней Поляков. – Где тут автозаводская бригада трудится? На каком участке?

– А во-он там, где мужики ломami орудуют, – махнула женщина рукой, и брезентовая варежка, слишком для нее большая, свалилась в грязь. – За увалом, налево, видите?

Поляков кивнул: вижу, мол, – и поднял ее варежку.

– Спасибо, – сказала женщина, глядя на него из-под низко надвинутого платка. – А вы к нам надолго, товарищ майор?

– А почему вы спрашиваете?

– Да так... – протянула она, поигрывая лукавыми зелеными глазами. – Может, остались бы? Лекцию вечером прочли бы на тему бдительности... или о международном положении, к примеру. Нет, правда, как там дела, на Западном направлении? А точно, что собрались столицу в Энск переносить и под откосом отрыли бункер для товарища Сталина и всего правительства? Просветили бы народ, товарищ майор! Мы тут уже почти месяц, а ничего не знаем, что на свете творится. У нас ни сводок, ни политинформаций, работаем как лошади, в сараи да землянки свои возвращаемся, поедим худо-бедно – и валимся вповалку на лапник, да и спим, как убитые. Скоро вовсе тут одичаем.

– Давай-давай, молоти языком, Нинка, – проворчала другая женщина, плотная, крепко сбитая, с узкоглазым лицом, напомнившим Полякову лицо Тарасова. Видимо, в ней тоже была чувашская кровь. – Он тебе проведет такую политинформацию, что на всю жизнь запомнишь. Мало, что твой муж где-то в тундре корешки ковыряет, так еще и ты к нему присоседишься. Нашла себе лектора, ити его мать!

Поляков глянул на женщину повнимательней.

Ого, что-то новенькое... До войны невозможно было вообразить, чтобы с майором НКВД кто-то осмелился заговорить в таком тоне, да еще и с матерком. Лебезили, заискивали, в лучшем случае – молчали. Ну ладно, с Нинкой все понятно, обыкновенная потаскушка, таких любой мужчина с полувзгляда насквозь видит. Ей все равно, кто перед ней, в каком чине и звании, лишь бы штаны носил. А вот другая... Во взгляде ее узких глаз откровенное презрение. Может быть, и правда начал пробуждаться тот самый народный дух, о котором говорил дядя Гриша?

Жаль, что нельзя поговорить с ней. И времени нет. Да и разве разговорится она? Вернее всего, замкнется, замолчит. Поляков отлично знал, что люди с ним и ему подобными становятся словоохотливы только после серии допросов с применением силы.

Ну что ж, служба есть служба!

Нинка, видимо, послушалась подруги: помалкивала и копала землю с таким усердием, что только лопата мелькала, даже забыла галоши очищать. Суровая чувашка тожегнулась над лопатой, не поднимая глаз. Поляков постоял-постоял рядом еще минуту да и пошел, не говоря ни слова, к той цепи укреплений, которые возводили мобилизованные с Автозавода.

Они орудовали не лопатами и даже не ломami, а кувалдами – вбивали в почву клинья, с помощью которых выворачивали изрядные пласты крепко перевитой корнями земли.

«Здорово приспособились, – одобрительно подумал Поляков. – Вот это рвы так рвы будут, я понимаю. Почему другие так же не действуют, интересно? Получается, здесь нет главного инженера? То есть, как обычно, с печки упали – и роют кто во что горазд?»

Он оглядел группу землекопов. Того, кого он искал, среди них не было.

– Товарищи! – окликнул Поляков, подойдя поближе. – Вы с Автозавода?

Они смотрели угрюмо, исподлобья, в точности как та женщина, подруга Нинки. Молчали. Никто не прервал работы.

– С Автозавода, спрашиваю? – чуть повысил голос Поляков.

– Ну... – не переставая орудовать ломом, откликнулся один из рабочих. С виду простоватый, широколицый русак, но глаза у него оказались такие же, как у прочих: узкие, словно лезвия, и взгляд такой же режущий, ненавидящий. Рот стиснут в нитку.

– Я ищу Москвина, Григория Москвина. Знаете такого? – сказал Поляков.

Согнутые спины распрямились, словно по команде. Обменявшись быстрыми взглядами, как будто мгновенно сообщив что-то друг другу, рабочие снова устали в землю.

– Так знаете или нет?

– Ну, знаем... – отозвался тот же.

– Где он?

На некоторое время воцарилось молчание.

«Что за черт? – подумал Поляков. – Что тут у них случилось?»

И сердце сжалось, потому что ощутило близкую беду.

– Где он, я спрашиваю?!

– Да в селе. Как кинул его уполномоченный подышать в сарае, так и лежит там небось, – наконец проговорил тот же рабочий.

– Что-о?! – выдохнул Поляков.

– А то ты не знаешь, майор? – зло хмыкнул рабочий. – Не знаешь? Небось наши псы уже позвонили в город, в управление. То-то ты прилетел как на крыльях. А ваньку зачем ломаешь? Мало вам человека загубить, надо еще и комедию сыграть!

– Тихо, Тимоша, тихо, – пробормотал сквозь зубы другой рабочий, низкорослый, приземистый, и даже потянул первого за ватник, но тому, чувствуется, уже вожжа попала под хвост.

– А что тихо? – вырвался он. – Что тихо?! Пристрелили человека ни за что ни про что только потому, что он за женщину вступился, а теперь молчи? Ладно, вчера мы все промолчали, сжевали совесть вместе с языками. Но сегодня – не буду! Пусть лучше он пистолет достанет да застрелит, пока нас всех здесь танками не подавили! Думаете, мы ничего не знаем и не понимаем?

У Полякова кровь колотилась в висках. В горле стало сухо. Что произошло? Дядя Гриша поссорился с местным особистом, с комиссаром (пусть не было в достатке лопат и ломов, но комиссар при каждом отряде землекопов имелся непременно: для этого был откомандирован младший командный состав НКВД)? Вступился за какую-то женщину? И что? Комиссар выстрелил в него? Да почему? По какому праву?!

Поляков распахнул шинель, рванул крючки гимнастерки на горле – нечем стало дышать. Ужас, охвативший его при мысли, что с Охтиным могло что-то случиться, был сродни с тем смертным холодом, который охватил его тело и душу, когда он узнал о гибели сестры. Вслед за ней – не пережила! – умерла и няня. Дядя Гриша – последний, единственный родной человек, оставшийся у Егора Полякова, последний, единственный, который знал его настоящее имя – Георгий Смольников. Как жить дальше, если нет никого в мире, кто знал бы твое настоящее имя?!

Он отвернулся от землекопов и широким шагом пошел, почти побежал по склону, который полого поднимался к деревне, стоявшей в полугоре. Оттуда навстречу ему катила знакомая «эмка».

Тарасов затормозил рядом, выскочил:

– Товарищ майор, вот, нашел комиссара. А начальник объекта поехал в район за лопатами, лопат у них тут...

И осекся, увидев лицо своего начальника.

Перехватив ошарашенный взгляд Тарасова, Поляков мигом стиснул в кулак и душу, и сердце, и боль свою. Сам ощутил, как скользнула на место привычная маска – теперь он стал олицетворением ледяного спокойствия и невозмутимости.

Дверца распахнулась. Из «эмки» выбрался худенький (шинель болталась на нем, как будто была надета на перевернутую швабру) веснушчатый юнец с тремя квадратами на петлицах – младший лейтенант госбезопасности.

– Товарищ майор! – задорно выкрикнул он, изрядно гнусая – то ли от волнения, то ли от насморка. Нос у него был красный и глаза воспалены. – Докладывает младший лейтенант Дудак.

– Я и сам вижу, что вы младший лейтенант, – перебил Поляков. – И все остальное про вас мне тоже ясно.

Тарасов тихо хрюкнул, но тотчас спохватился и дипломатично полез обратно в «эмку».

– Что вы тут устроили с этим Москвиным? – тихо проговорил Поляков. – Ну! Говорите!

Младший лейтенант Дудак открыл и закрыл рот. Глаза у него стали изумленные: ну да, не ожидал, что приезжий майор окажется уже в курсе дела.

– Докладывайте быстро! – приказал Поляков. – Нет, погодите!

Что бы там ни произошло, нельзя, чтобы слышал Тарасов.

Он схватил Дудака за рукав и потащил в сторону от машины. Остановился, повернул его к себе:

– Слушаю. Скорей говорите. Москвин жив?

Снова сердца сжалось до какой-то почти нереальной боли. Что он здесь делает? Нужно скорей мчаться в село, искать дядю Гришу, а он тратит время...

И в то же время словно бы чья-то прохладная ладонь успокаивающе коснулась лба, и Поляков понял: дядя Гриша его дождется. Сначала надо – он в самом деле должен! – узнать, что здесь случилось.

– Да никакая пуля эту сво... – начал было Дудак, но глянул в черные, лютые глаза майора – и подавился ругательством. – Так точно, жив.

– Коротко изложите, как обстояло дело.

– Тут одной мобилизованной плохо стало, когда она несла носилки с землей. Упала без сознания, неженка! – Дудак презрительно дернул углом рта. – Москвин потребовал, чтобы женщин отпускали с окопов раньше, потому что, дескать, тяжело им землю ворочать по десять-двенадцать часов. Девчонки, говорит, потом рожать не смогут. Я ему сказал, что та мобилизованная, во-первых, не девчонка, ей уже лет двадцать пять, а во-вторых, от работы еще никто не умирал. Труд облагораживает человека! И вообще, наши советские женщины ради того, чтобы отстоять завоевания Октября и дело Ленина – Сталина, всем готовы пожертвовать, даже собственной жизнью и жизнями своих детей! Тогда он... – Дудак яростно дернул углом рта, – тогда Москвин сказал, что я... – младший лейтенант стиснул кулаки, – что я...

– Ну, продолжайте, чего заикаться начали?

– Что я безжалостный урод, которого надо как можно скорей поставить к стенке, и чем больше таких тварей, как я, выявят и расстреляют в первые же дни войны, тем скорей победит Россия, потому что она будет сражаться ради будущего, а не ради защиты кровавого прошлого. Это он о завоеваниях Октября! О деле Ленина – Сталина! – Дудак от возмущения пустил петуха. – Ну я, конечно, не выдержал и... по закону военного времени...

– Сдайте оружие! – приказал Поляков. – Ну, быстро! Ослушаетесь – я могу вас сейчас же... по закону военного времени!

Он смотрел в землю, не позволяя себе даже взглянуть на Дудака. Боялся, что не выдержит.

Дудак издал какой-то странный звук, не то стон, не то всхлипывание. Потом пробормотал:

– Товарищ майор! Я во вредителя, во врага народа, а вы...

– Этот человек – мой секретный сотрудник, – тихо сказал Поляков. – Он должен был любой ценой втираться в доверие к людям. Выявлять нестойких, пораженцев, готовых к сабо-

тажу, а может быть, и к откровенно враждебным действиям. Вы своей глупой, нет, не просто глупой – преступной несдержанностью поставили под удар целую операцию. Понятно вам, почему я могу прямо сейчас и здесь?..

Он по-прежнему не смотрел на младшего лейтенанта, но почувствовал, что тот пошатнулся. Вынул табельный «ТТ», протянул Полякову. Пистолет плясал в его дрожащей руке. Такое ощущение: Дудак уже не удивился бы, если бы разгневанный майор выпалил в него из его же собственного «ТТ»! Поляков, конечно, испытывал жгучее желание сделать это, но не сделал – сунул оружие в карман шинели.

Насчет секретного сотрудника была чушь, только что пришедшая в голову Полякову. Никто не мобилизовал Охтина на окопы – он записался сам. В первые же дни войны пошел в военкомат с просьбой отправить в действующую армию – не взяли по возрасту (ему недавно исполнилось пятьдесят два года). Кроме того, живя в землянке вместе с первыми строителями Автозавода, он застудил легкие, да так, что порой харкал кровью. Какая уж тут война! Его послали на окопы только потому, что людей не хватало просто катастрофически, а он сам обратился с просьбой отправить сюда.

Когда Поляков узнал о решении Григория Алексеевича, просто ушам не поверил.

– Зачем, зачем? – повторял Егор снова и снова и по-прежнему не мог понять. – Зачем тебе это? Ведь вот-вот может совершиться то, о чем мы мечтали двадцать пять лет! То, ради чего мы притворялись, лгали, отдавали самых дорогих и любимых! Моя семья, моя сестра... твой брат, расстрелянный только за то, что он был твоим братом. Его умершая от горя жена. Его сгинувший невесть где сын. Няня Павла... И другие, другие, бесчисленное количество таких, как мы, у которых было отнято все, даже имя! И ты хочешь защищать эту страшную страну, в которой для людей главное не то, что они русские, а то, что советские. Ты хочешь защищать Советский Союз?

– Я хочу Россию защищать, – сказал тогда Охтин. – Россию, а никакой не Советский Союз. Сам знаешь, если бы снова, как в Гражданскую, пошли *наши* стеной на *них*, как шли тогда белые на красных, я бы *нашу* Родину у *них* когтями и зубами рвал. Как раньше! Но сейчас на Россию идут чужие. Сейчас мы все – и красные, и белые – вместе должны быть. Неужели ты не понимаешь, что речь не о том идет, какой быть России – красной или белой, – а о том, быть ли ей вообще?

– Нам не нужна *такая* Россия! – выкрикнул Поляков.

Охтин только головой покачал:

– Россия – одна. Такая или не такая – одна! А мы с тобой ничего не решаем. От нас уже ничего не зависит, понятно? Мы можем быть только со своими – какими бы они ни были, главное, что с русскими, – или с врагами. Я не могу, не хочу быть с врагами! Поэтому должен сделать хоть что-то, если на фронт не берут.

Поляков пытался его переубедить, но напрасно. Они расстались враждебно, и все три недели, прошедшие со времени отъезда Охтина, он лелеял в своей душе эту враждебность, стараясь убедить себя, что был прав, однако не выдержал – сорвался в Кузнечную пристань, воспользовавшись первым же предлогом. И сейчас клял себя, что не поехал раньше. Хотя бы на день! Как он будет жить, что будет делать, если не станет Охтина?!

– Я спрашиваю – понятно? – спросил он, по-прежнему не глядя на Дудака.

– Так точно... – едва слышно выдохнул тот.

Наконец Поляков повернул голову и посмотрел на младшего лейтенанта.

Тот покачнулся. Показалось, будто его лица коснулся открытый огонь.

– Он жив? Быстро говорите – жив?

Дудак туго сглотнул, но ничего не смог ответить – пожал плечами.

– Где он?

И снова Дудак молчал, чудилось, бесконечно долго, прежде чем нашел в себе силы прошептать:

– В сарае...

– Садитесь в машину, – приказал Поляков, снова подавляя искушение выхватить пистолет из кармана и начать палить, пока хватит пуль. – Показывайте дорогу.

Садясь сам, он мельком взглянул на Тарасова. У того от любопытства даже уши заострились. Можно представить, что он будет докладывать начальству! Если Григорий Алексеевич еще жив, его надо вывезти отсюда – как можно скорей. Потом нужно будет заняться созданием легенды о секретном сотруднике. Без вопросов в управлении не обойтись! Придется задним числом написать заявление, доносы, которые якобы принадлежали перу секретного сотрудника Охтина, вернее, Москвина... Какую кличку ему дать? Нет, это все потом. Это мелочи. Сейчас главное – его жизнь!

– Вон туда, – чуть слышно пробормотал сидящий сзади Дудак. – Налево. За домом с серой крышей.

– Да тут везде серые, – хмыкнул Тарасов, сворачивая в узкий проулок. – Прогнили все. Сюда, что ль?

– Сюда...

Поляков выскочил, когда «эмка» еще тормозила. Ногой ударил в небрежно прикрытую створку ворот приземистого сарая. Влетел внутрь – и словно бы наткнулся на истерический женский крик.

Замер, опешив. Сзади возбужденно дышал Тарасов.

– Иха... – пробормотал он. – Веселые дела. Это что ж, лазарет такой? Или, подымай выше, санаторий?

Сквозь щелястую крышу сквозил холодный свет. Видно было, что на земле, в грязи, в кучку собрано сено, на него набросаны еловые ветки. На жалкой подстилке лежал человек. Над ним стояла на коленях простоволосая женщина в замызганной телогрейке, пытаясь прикрыть собой, и с ужасом косилась на вошедших.

– Он умирает! – крикнула, поднимая заплаканное, измученное лицо с опухшими от слез глазами. – Не надо, не трогайте его!

Поляков покачнулся, увидев седую, сплошь седую голову Охтина, лежащую на какой-то серой тряпке.

– Всем выйти, – прохрипел, покосившись на Тарасова. – Проследите, сержант.

Дудак, предусмотрительно не решившийся сунуться дальше порога, покорно отпрянул на улицу.

– Пройдите, гражданка, – сказал Тарасов, потянув женщину за плечо. – Пройдите, сказано.

– Я его не брошу! – оттолкнула шофера женщина. – Он меня спасал, я его не брошу.

«Значит, дядя Гриша за нее вступился», – подумал Поляков, ощутив такое же жгучее желание убить эту женщину, как и Дудака.

– Иди... – донеслось снизу чуть слышное – и все замерли: умирающий заговорил. – Иди, не бойся. Мне надо с ним...

Женщина покорно поднялась, всхлипнула, зябко втянула голову в ворот грубого самовязаного свитера, торчащего из телогрейки.

– Платок свой заberi, – прохрипел Охтин, пытаясь приподнять голову. – А то умру, побоишься взять.

– Нет, нет, не надо! – Женщина опрометью кинулась из сарая, тяжело волоча за собой калоши, сваливавшиеся с ботинок, и Поляков, взглянув на ее растрепанные, сваливавшиеся, давно не мытые волосы, вдруг понял, что серая тряпка под головой Охтина – никакая не тряпка, а шерстяной платок женщины.

Он подошел ближе.

Седые волосы, белое, без кровинки лицо, потонувшие в черных тенях глаза. Серые губы. Какая-то бесформенная тряпка, покрытая ржавыми пятнами, торчала из-под полы ватника.

Кровь!

– Дядя Гриша... – пробормотал Поляков и по тому, что лицо Охтина вдруг приблизилось, понял, что опустился рядом с раненым на колени. – Ты что? Ты что это затеял?

– Прости, Гошка, – сорвался легкий вздох с губ Охтина. – Ты меня прости... я тебя оставляю...

– Дядя Гриша...

– Сволочи, какие же сволочи! – чуть слышно бормотал Охтин. – Это же их народ, здесь же не заключенные! Они хотят, чтобы измученные женщины для них окопы рыли... они... Кого же защищают те, кто сейчас на фронте стоит против гитлеровцев?

«Таких, как я и тот, кто в тебя стрелял», – подумал Поляков и поднял с грязного пола, засыпанного сеном трухой, безжизненную, холодную руку Охтина.

– Дядя Гриша!

– Да что ты заладил? – шепнул Григорий Алексеевич, и на губах его запузырилась кровавая пена. – Других слов не знаешь, что ли? Помню я, как меня зовут. Все помню. Увези ее. Прошу, увези.

– Кого?

– Ты ее видел. Это она. Мы у нее в долгу.

– Кто? Почему?

– Увези ее отсюда, – повторил Охтин и подавился кровавым сгустком, внезапно вылетевшим из его рта.

Поляков ничего не успел сказать, ничего не успел спросить. Какое-то мгновение – нет, меньше... и он остался один.

Один.

Он стоял на коленях, склонившись над безжизненным телом, и думал, что первый раз за всю жизнь присутствовал при смертной минуте кого-то из своей семьи. Отца убили без него, мама покончила с собой без него, сестра была убита без него, няня умерла без него. Поляков думал раньше, что судьба жестока, так как не дает ему проводить в последний путь *своих*, но теперь понял: она была удивительно к нему милосердна.

* * *

Первое, что они услышали, сойдя с баржи, было:

– Фашисток ведут! Фашисток ведут!

– Господи, ну что-нибудь поновее бы придумали... – пробормотала Катя Спасская, чуть обернувшись к Александре. – В Рузаевке, в 38-м, помнишь, когда нас туда привезли, тоже мальчишки кричали: «Фашисток ведут!»

Тех мальчишек Александра никогда не забудет. Для встречи эшелона с «врагинями народа», которых направляли в Темниковский женский лагерь, все население станции выстроилось по обочинам грязной, расквашенной дороги. Заключенные брели по трое, волоча на себе свои жалкие пожитки – мешки, чемоданы, узлы. Всех шатало от голода. Их так и не накормили по прибытии – велели ждать до места, а под местом имели в виду не станцию, а сам лагерь, куда их должны были перевезти по лесным дорогам только завтра. То есть к завтрашнему вечеру, может, и накормят. Хорошее дело... Сейчас же их вели куда-то ночевать, куда – неведомо. Едой и не пахло, а жители Рузаевки стояли по обочинам дороги и порою начинали истошно орать:

– Фашисток ведут!

Наверное, кричали не все, но Александре казалось, что даже больше, чем все. Почему они были фашистки? Неведомо. А потом в них полетели камни. Перла Рувимовна, шедшая слева от Александры, схватилась за голову. Седые, растрепанные волосы, выбившиеся из-под платка, окрасились кровью, она пошатнулась и свалилась бы, если бы Александра не подхватила ее под руку. Узел Перлы Рувимовны упал в грязь и наполовину утонул в ней.

Катя Спасская попыталась поднять его, но на нее налетели идущие сзади женщины, которые невольно ускорили шаги, чтобы не попасть под град камней. Катю сбили с ног, упали и другие женщины. Александра, изо всех сил пытаясь сохранить равновесие, метнулась в сторону, увернулась от летящего в нее камня и вдруг увидела странную женщину, стоящую на обочине. Завернутая в большой черный платок, она медленно крестилась и кланялась, глядя на смятенную толпу заключенных, но не делала ни малейшей попытки остановить мальчишек. Какое-то мгновение Александра смотрела в ее равнодушные глаза, потом отвернулась и пошла дальше, из последних сил волоча за собой Перлу.

– В колонну по три! – орала конвойные, но их никто не слышал. Наконец до них дошло, что творится, а может быть, кто-то разглядел окровавленные головы женщин (кроме Перлы, досталось еще нескольким), и конвойные побежали по обочинам, разгоняя мальчишек.

А те все не могли уговориться:

– Фашистки! Фашисток бей!

Наконец заключенных привели в какой-то сарай. Потолок был щелястый, пол грязный, стены сырые. И ни соломинки, ни доски, на которых можно устроиться – если не лечь, то хотя бы сесть!

Женщины подняли крик, требуя еды, каких-нибудь подстилок, врача для раненых.

Прибежал начальник конвоя, стал грозить: не замолчат, то...

– Ну что «то»? – устало спросила его Катя Спасская, размазывая грязь по лицу. – Что ты нам еще можешь сделать, начальник? К стенке поставить? Да вы же нас и тащите на погибель, так, может, лучше поскорей? Постреляй нас всех, и дело с концом!

Кто-то из женщин истерически взвизгнул, не выдержав этих слов, а кто-то разразился рыданиями. Через мгновение рыдали все. Такого ужаса Александра, кажется, в жизни не переживала... Унять слезы измученных ссыльных было невозможно. От их отчаянных воплей и стонов ходили ходуном стены. Александра внезапно осознала, что ни она сама, ни другие ее подруги по несчастью даже толком не плакали над своей долей все это время. Душа скукожилась, что ли... И вот теперь все силы терпения кончились.

Вдруг бросилось в глаза – Люда Стромькина, жена одного из волжских капитанов (здесь ведь большинство женщин были жены речников, арестованные и сосланные просто потому, что – жены «врагов народа»), высокая, некогда очень пышная, а теперь худющая, с обвисшими щеками, резко постаревшая женщина, стоит, чуть не на голову возвышаясь над низеньким, толстеньким начальником конвоя, и даже не плачет – ревмя ревет на одной низкой ноте, царапая лицо ногтями до крови!

Накатило настоящее безумие...

Начальник вылетел за дверь пулей. Слышно было, как с грохотом упал засов. И тогда женщины кинулись к стенам сарая, стали скрести их, бить в них кулаками... Рев продолжался, стены ходили ходуном. Наверное, если посмотреть со стороны, это было страшно: отчаянно рыдающий, ревуший, мучительно содрогающийся сарай...

Кто-то сильно ткнул Александру в бок. Глянула – Катя. Она зажимала уши ладонями и отчаянными гримасами показывала окружающим ее женщинам, в том числе Александре и Перле, чтобы сделали то же. Перла не понимала – редела истошно, даже не утирая крови, которая сочилась из раны на голове, но Александра зажмурилась, зажала уши, скорчилась, припав коленями на свой чемодан... Сразу стало легче. Рев и вой отделились, спасительная тьма прильнула к глазам. Александра мелко дышала, постепенно приходя в себя. Рев доносился

словно бы издалека. Но вот он начал стихать, стихать... Она робко приоткрыла глаза и увидела, что уже почти все женщины сидят на корточках, на вещах или стоят вот так же, как они с Катей, согнувшись, скорчившись, зажимая уши, зажмурясь. Последней утомилась Людмила, но у нее не хватило сил даже сесть на узел – упала прямо на сырую землю и забылась то ли во сне, то ли в беспамятстве. Перла достала из своего грязного узла какую-то рубаху, оторвала от нее полосу, попыталась перевязать голову. Александра помогла. Постепенно ее охватило то же оцепенение, что и прочих, и они с Катей и Перлой, прижавшись друг к другу, уснули на своих сваленных грязной кучей вещах.

Утром им первым делом принесли свежесдобитого хлеба и несколько ведер кипятку. Резала хлеб та самая женщина в платке, которая давеча крестилась на обочине. Глаза у нее были такие же равнодушные, словно незрячие, как и прежде, однако нарезила она пайки удивительно точно. Всем досталось поровну. И каждой из заключенных женщина холодно велела:

– Не наваливайся на тесто, брюхо заболит.

Поразительно...

– Это русский народ, – сказала Катя Спасская, глядя на потрясенную Александру. – Поняла, Саша? Вот такой он, наш народ.

– Народ безмолвствует, – кивнула в ответ Александра.

– Вот именно.

– «Ты проснешься ль, исполненный сил? – пробормотала Перла, которая была преподавательницей русского языка и литературы. – Иль, судеб повинуюсь закону, все, что мог, ты уже совершил?»

– А ты молчи, Перла, – с внезапной яростью покосилась на нее Катя. – Молчи, поняла? Не тебе наших судить, ты на своих смотри!

И Перла Рувимовна, ныне Абрамова, в девичестве Левинсон, покорно умолкла.

В общем-то, это была их единственная ссора... которую и ссорой-то назвать нельзя. Так жили, так *тесно* жили, что, если б начали собачиться, давно попередохли бы. И все понимали то же самое: и Александра, и Перла, и Катя, и Людмила, и прочие женщины. Поэтому как были у них в тюрьме и в дороге сугубо сестринские отношения, такими они и оставались в Темниковском женском лагере.

А стоял он, их лагерь, в глубине чудесного соснового леса в самых дебрях Мордовского края. Воздух был волшебный, особенно после дождя, и хвоей, которой здесь было в изобилии, только и спасались от цинги. В лагерной-то пище никаких витаминов не было предусмотрено: на завтрак жиденькая ячневая каша, хлеба двести граммов да кружка кипятку. Это в семь утра. Обед в два часа – на первое пустые щи, на второе та же каша, только чуть погуще утренней. Вечером кипятки с оставшимся от обеда хлебом. Когда началась поголовная цинга, Александра вспомнила, как кто-то в госпитале в Энске рассказывал про народные рецепты. Начальство возражать не стало, и через несколько дней у нее уже были готовы огромные бутылки с отваром. С души воротило пить эту гадость, но зато все выздоровели.

Тогда ее и перевели в медпункт. А сначала она вместе с Катей поочередно работала на водовозке.

Просыпались еще до подъема (он был в шесть, потом аж до семи длилась переключка в огромном дворе, с непременною пофамильной отметкой-галочкой в смешной ученической тетрадке) и осторожно, чтобы никого не разбудить, шли по ночному лагерю. В конюшне запрягали быка, у колодца заполняли огромную водовозную бочку и развозили воду поочередно по всем службам лагеря. Там же всё: работа на кухне, раздача, хлебобрезка, выдача и стирка белья, уборка внутри бараков и на территории, топка печей и прочее – велось собственными силами, силами женщин-заключенных.

После «победы над цингой», как пышно именовали это в бараках, Александра стала работать в медпункте. Конечно, там был квалифицированный врач – женщина-ленинградка, но без сестры ей было не обойтись. Подумывали о том, чтобы завести при медпункте еще и санитарку. Александра мечтала пристроить на тепленькое местечко бедняжку Перлу, которая хирела не по дням, а по часам, но зимой 1938/39-го в лагере начались перетасовки. Стали часть женщин отправлять на Беломоро-Балтийский канал, где теперь валили лес и строились предприятия.

Перла и Людмила Стормыкина попали в первую же партию, назначенную к отъезду. Александра по-прежнему оставалась в медпункте, Катя продолжала возить воду по утрам. А эти – уезжали... Ночь до отправления не спали: ревмя ревели, прижавшись друг к дружке на нарах. То ли увидятся, то ли нет...

Перед рассветом Катя и Александра написали маленькие записочки своим: Перла и Людмила должны были, если ухитрятся, выбросить их из вагонов: вдруг да найдутся добрые люди, вдруг да перешлют по адресу...

– Дворяне шумною толпой по Эсэсэрии кочуют, – пошутила, храбрясь, Людмила, у которой дед, совершенно как у некоего Базарова, землю пахал. Александра оглядела подруг: Катя – дочь бакенщика, внучка бакенщика, может, и правнучка, Рувим Левинсон был «старье берет», у Александры у одной дела с происхождением обстояли более или менее классово-чуждо, однако в кочевье предстояло отправиться не ей, а Люде и Перле...

Ладно, еще не вечер, еще неизвестно, может, и ей придется кочевать по Эсэсэрии!

И она тихонько сплюнула через левое плечо.

Проводить отъезжающих разрешили до самой проходной. И вдруг кто-то приметил, а потом сообщил другим ошеломляющую новость, которая мигом разлетелась по лагерю: в проходной снят портрет наркома Ежова!

Катя и Александра сразу вспомнили, как его в Энске избирали депутатом Верховного Совета. И жуткий плакат под названием «Ежовы рукавицы», висевший во дворе Энской тюрьмы, они тоже вспомнили...

Ну и что теперь с тем Ежовым? Дал бы бог, чтобы сам в свои же рукавицы попал! А на проходной повесили портрет нового наркома – с одутловатым лицом, в пенсне. Фамилия его была – Берия. Это тоже сообщили втихаря. Как государственную тайну!

– Бе-ри-я! Беръ я, – глубокомысленно изрекла Катя, которая любила мнемонику. – Небось взяточник, а?

И опасливо оглянулась, но они, на счастье, были одни в медпункте, куда Катерина привезла воду.

– Взяточник и грузин, – с ненавистью продолжала она. – Еще один грузин на нашу голову!

– А вот, кстати, о грузинах, Катъ, – сказала Александра, чтобы ее немножко отвлечь. – Помнишь, у нас в Энске улица есть – Грузинская?

– А то! – вздохнула Катя. – По ней, бывало, идешь, смотришь на крыльцо Госбанка – и душа радуется. Какая красота несусветная! А правда ли, что в Госбанке внутри стены расписаны самим Билибиным?

– Да вроде правда, – не слишком уверенно сказала Александра. – Только даже если это и так, небось уже всю роспись смыли и каких-нибудь колхозниц там намалевали. А может, и нет. Может, ничего не тронули. Вот ведь улицу Грузинскую рядом с банком не переименовали же!

– А чего ее переименовывать? – удивилась Катя. – У нас теперь в государстве первые люди – грузины. Ну и еще явреи.

Катя ненавидела «явреев». Бедная Перла Рувимовна пробила своей многотерпеливостью некоторую брешь в ее антисемитизме, но теперь, после отъезда Перлы, брешь эта довольно быстро затягивалась.

– Ладно, хватит тебе про евреев, – быстро сказала Александра, пока Катя не села на любимого конька. – Ты что, серьезно думаешь, что улица Грузинская в честь грузин названа?

– А в честь кого же, в честь явреев, что ли? – ухмыльнулась Катя, которую трудно было унять.

– Жили такие князья Грузинские, они были попечителями храма Покрова Пресвятой Богородицы, в честь которого Покровка и была названа. А в честь князей Грузинских – они, между прочим, внесены в родословные книги Нижегородской губернии – названа улица, которая почти от храма идет. Здорово, да? Кругом Свердловы, да Дзержинские, да Урицкие, а тут на тебе – князья Грузинские! Они небось на том свете сейчас хихикают над всеми переименовывателями на свете.

– Эх, сейчас бы пройти по этой самой Грузинской, да на росписи Билибина посмотреть, да в храм Покрова зайти помолиться... – пробормотала Катя.

– Да! – подхватила Александра. – Или еще лучше – в часовню Варвары-великомученицы на Варварке, то есть на Фигнер.

«Мокко «Аравийский», «Ливанский», Мартиник»... Господи, какая она была тогда дурочка. Какая маленькая, счастливая, блаженная дурочка, ничего не ведающая, кроме стука своего влюбленного сердца!

Жаль, что нельзя было так жизнь прожить.

А впрочем, разве она не прожила жизнь именно так – под стук влюбленного сердца?

– Я раньше такая дура была! Комсомолка, знаешь? – продолжала между тем Катя. – На Светлое Христово воскресенье народ идет с заутрени, а мы, бывало, встанем напротив храма Покрова – с рожками, сажай вымазанными, с рожками на головах, чертей изображали, – и ну срамные песни орать! Старухи нас кто крестит, кто проклинает... Вот бог и наказал.

– Да ладно, – сказала Александра. – Может, еще и смилуется. Пока живы, верно? Живы и, глядишь, до срока своего доживем.

– Ну, здесь-то, может, и доживем. А вот слухи ходят, расформируют лагерь-то... Загонят куда-нибудь на Соловки... это сразу край, хоть иди да топися в Белом море!

– Ну, может, нас загонят куда-нибудь, где моря нет, так и топиться будет негде, – утешила Александра.

Потом, спустя два года, Катя скажет ей: «Ну ты как в воду глядела!»

* * *

Сначала Ольга его не узнала. Посмотрела на высокого летчика, открывшего дверь, и подумала, что ошиблась адресом, постучала не в свою квартиру. Наверное, он новый соседский квартирант.

– Вы к кому? – спросил летчик, вглядываясь в неразличимую женскую фигуру, замершую во тьме лестничной площадки.

– Кто там пришел? – послышался дребезжащий голос деда, и Ольга поняла, что все-таки она дома наконец. Значит, летчик не соседский, а новый их квартирант?

Ну и ладно, сейчас ей совершенно не до него!

Отодвинув незнакомца плечом, она ввалилась в прихожую, волоча за собой свой грязный вещмешок, швырнула его в угол и кинулась на голос в дальнюю комнату. Константин Анатольевич Русанов сидел в своем кресле, как всегда, закутанный в плед, и в старой голландке играл огонь, и слабо теплилась настольная лампа, и томик Бальмонта лежал под ней, белея тисненой обложкой и поблескивая золотой вязью названия, и темно, таинственно мерцали стекла плотно заставленных книжных шкафов, и тяжелые бархатные портьеры скрывали от глаз уродливые светомаскировочные шторы. Ольга с разбегу кинулась на пол перед креслом, припала к худым дедовым коленям, покрытым пледом:

– Дедуля, я вернулась!

Дед смотрел-смотрел недоверчиво, потом вдруг всплеснул бледными, истончившимися, совсем уже старческими руками:

– Господи, да ведь это Олечка! Господи! Мы и не ждали!

– Оля, Оля! – ворвалась в комнату тетя Люба с поварешкой в одной руке и кухонным полотенцем в другой. – Девочка ты моя ненаглядная, да какая же ты стала, да как же ты оттуда вырвалась!

– Тетя Люба, дрова есть? – спросила Ольга, не поднимая головы с дедовых колен. – Рас-топи мне колонку, я сейчас умру, если не помоюсь.

– Да, да, – пробормотала тетя Люба, не трогаясь с места и бестолково перехватывая половник и полотенце: из правой руки в левую, из левой в правую. Слезы так и лились по ее лицу, она бестолково встряхивала головой, чтобы смахнуть их, но почему-то не догадывалась вытереть.

– Может, тебе лучше поесть сначала? – шепнул дед, наклоняясь к Олиной голове и вдыхая запах ее невымытых волос с таким восторженным выражением лица, словно это были те самые парижские «А Дискресіон Дралле – духи и одеколон дивного, чарующего запаха!», которые он в незапамятные времена покупал для Клары Черкизовой, ныне Клавдии Васильевны Кравченко. Клара только сегодня приходила, принесла немного муки и масла. Как чувствовала, что Олечка вернется! Теперь Любаша напечет своих знаменитых оладий. Так мало удовольствий в жизни старика, а с войной их и вовсе убавилось. Но осталось ни с чем не сравнимое счастье – любовь к внучке. А еще наслаждение от вкусной еды. Потом, уже ночью, когда все уснут, благостный и довольный Константин Анатольевич достанет из-под подушки любимого Бальмонта и, не открывая книги (свет нужно экономить, да и зачем ему смотреть в книгу, если он все и так знает наизусть?), будет перебирать в памяти неувядаемые строки, словно цветы, словно лепестки роз, белой и красной! Все-таки есть еще радости в жизни, несмотря на то что война, и мир давно рухнул, и Русановы как-то приспособились выживать под его обломками.

– Нет, поесть потом, сначала в ванну, – пробормотала Ольга, неохотно поднимая голову. – Деда, а кто мне дверь открыл? У нас новый квартирант, что ли?

– Не узнала? – засмеялся Константин Анатольевич. – А ну-ка оглянись, посмотри на него получше!

Ольга начала вставать, тяжело опираясь об пол, но летчик сильной рукой подхватил, резко поднял.

– Правда не узнала, что ли? – спросил сердито. – Да ты что, Аксакова, с ума сошла?! Разве можно было меня не узнать?!

– Олечка, да ведь это Коля, Коля Монахин! – по-прежнему не утирая слез, воскликнула тетя Люба. – Наверное, он будет очень богатый, потому что мы с Константином Анатольевичем его тоже не сразу узнали. Да и потом, когда он назвался, не поверили, ему чуть ли не документы предъявлять пришлось.

Ольга смотрела во все глаза. Колька Монахин! Сколько ж они не виделись? Четыре года. Колька... Он и всегда был очень красив, а уж сейчас-то – в летной форме с голубыми петлицами на вороте и с серебряными крыльями-эмблемами на рукаве гимнастерки – просто глаз не оторвать. Русский чуб на лбу, зеленые глаза, в которые Оля когда-то – давным-давно, еще в школе! – была просто невыносимо, ну совершенно смертельно влюблена.

Когда-то. Очень давно! С тех пор сто лет прошло!

– В самом деле Колька... – пробормотала Ольга, из вежливости изображая удивление и качая головой. – Откуда взялся? И что это за маскарад, почему на тебе форма?

– Ох, Ольга, ну какая же ты противная, – покачала головой тетя Люба и наконец-то утерла свои умиленные слезы. – Маскарад, главное! Ладно, мое дело – ванну приготовить.

– Оля, я так рад... – качнулся было вперед Николай, но Ольга испуганно выставила ладони:

– Нет, ты что! Не трогай меня, я почти месяц не мылась, одежда – сплошная грязь. И вообще, у меня могут быть вши!

Никаких вшей у нее не было, Ольга ничуть не сомневалась. И мысль о них ее совершенно не волновала, когда деда обнимала. Но с Колькой Монахиным обниматься у нее охоты не было.

– Оля, – неуверенно начал Николай. – Я тебе должен так много сказать, объяснить... Понимаешь, я закончил летнюю школу в Одессе. Я туда документы подал еще весной 37-го года, как только из университета ушел. Помнишь, в 38-м году был призыв: «Дать стране сто пятьдесят тысяч летчиков!» Ну вот...

– И тебя приняли в летнюю школу? – недоверчиво посмотрела Ольга. – После того, как отчислили с курса?

– Да ты что? – удивился Николай. – Меня не отчислили, в том-то и дело! Меня заставили написать заявление об уходе из университета. Получилось, будто я сам учебу бросил. Я тогда бесился, а потом понял, что со мной еще очень хорошо обошлись.

«Не то что со мной! Меня-то выгнали с волчьим билетом! И даже на работу не брали. Если бы не...»

– Но из комсомола-то тебя исключили! – сказала Оля с недоброй усмешкой. – Как же ты учился в летной школе? Удалось восстановиться?

– Все проще, – негромко сообщил Монахин. – Я просто не сообщил об этом. Вот и все. Сказал, что еще не вступал в комсомол. Поверили, а потом и приняли, уже в училище. Нас там пятеро было таких, знаешь, еще не охваченных комсомолом. Ох и носились они там с нами, ох как гоняли по уставу!

– Ванна готова, – выглянула из кухни тетя Люба. – Давай, Олечка, милая, иди мойся быстренько, а я пока оладушек напеку, хорошо?

Ольга кивнула и пошла в ванную комнату, спиной чувствуя взгляд Николая.

На маленькой табуреточке уже лежало чистое белье и байковый халат, который тетя Люба шила когда-то для передачи Александре Константиновне – как раз перед тем, как ее отправили в лагерь. Тетя Люба тогда сшила два одинаковых халата: для перемены. Один приняли, а другой почему-то вернули. Он так и лежал в шкафу с тех пор – на темно-зеленой байке отчетливо отпечатались слежавшиеся складки, перечеркнувшие розовые и голубые розаны. Очень красивая была баечка, ее тетя Клара Кравченко принесла – нарочно для Александры Константиновны, для Сашеньки, как она сказала... Все четыре года почему-то никто не решался надеть халат – ни тетя Люба, ни Ольга, – но сейчас девушка смотрела на него с восторгом. И на чистые чулки в наивную школьную «резиночку», и на круглые подвязки (совсем новые, не растянутые, значит, хорошо будут держать чулки!), и на розовые трикотажные штаники, и на сорочку с самодельной тети-Любиной вышивкой на груди, около бретелек, и на шерстяные носки, и на мягкие войлочные, самодельные домашние чуны она тоже смотрела, будто на какое-то чудо.

Налюбовавшись, наконец скинула с себя все грязное, отвратительное, свернула в тючок и выкинула за порог: не могла видеть этих вещей, не могла уже терпеть их ужасного запаха.

Заодно она попыталась выкинуть из головы все мысли. И сначала ей даже удалось. Но чем дольше Ольга сидела в ванне, чем чище отмывалась, тем настойчивей возвращались воспоминания. Они были такими тяжелыми, что Ольге показалось, будто голова ее клонится, как если бы на шею навязали камень. Вот-вот нырнет в ванну и утонет под его тяжестью! Слезы срывались с ресниц и падали в мыльную, уже остывшую воду.

Неизвестно, сколько прошло времени, когда девушка услышала деликатное, но настойчивое постукивание в дверь.

– Что? – спросила, шмыгнув носом.

– Олечка, с тобой все хорошо? – послышался голос тети Любы. – Ты там уже час сидишь. Вода, наверное, остыла. Оладьи давно готовы, выходи скорей!

– Иду, – отозвалась Ольга. – Уже иду.

В самом деле, хватит мокнуть. Грязь она смыла, а переживания... Что в них проку? Нет от них никакого толку, это она уже давно поняла!

Ольга постояла перед зеркалом, разглядывая свои влажные волосы, которые всегда после ванны завивались крутыми кольцами. Завились и сейчас, отчего осунувшееся лицо стало совсем детским.

Вот как... А она-то думала, что теперь волосы у нее навсегда останутся прямыми и жесткими, как пакля. И думала, что постарела лет на десять, а на самом деле какая-то пионерка смотрит из зеркала...

Почему-то Ольга совершенно забыла про присутствие Монахина и искренне удивилась, увидев его:

– Как же ты будешь в свою часть возвращаться? Ведь комендантский час. Или у тебя пропуск есть?

– Коля у нас переночует. В моем кабинете, на раскладной кровати, – ответил дед. – Зачем же идти в такую пору? Его часть за городом стоит, сейчас никак туда не добраться.

Ольга чуть приподняла брови, но ничего не сказала.

– Кушай, моя деточка. И ты, Коленька, кушай, – хлопотала тетя Люба, стараясь смягчить неловкое молчание, повисшее в комнате.

Николай лениво жевал, исподлбывая поглядывая на Ольгу. Конечно, ему гораздо больше хотелось бы провести ночь не на раскладушке в хозяйском кабинете, а в другой постели. И Николай мечтал: вот все уснут, и он проберется к Ольге в комнату. Он думал только об этом весь долгий-предолгий час, который она провела в ванной. Его не охладила отчужденность первой встречи. Оля устала, явно не в себе... К тому же девушка и должна быть недотрогой. За четыре года учебы, а потом и службы в Одессе (перевестись в Энск удалось с трудом, только после начала войны) Николай соскучился по недотрогам. Там, в Одессе, он имел дело совсем с другими девчонками!

Но что-то Ольга по-прежнему держится холодно. Может быть, сердится, что он уехал, не сказав куда, что потом не писал? Все-таки в те времена у них уже были *отношения*... Ну и что? Николаю всегда казалось, вернее, он как бы чувствовал, что все произошло случайно, от той тоски, в которой тогда пребывала Оля, не от любви. Это его обижало, делало *отношения* какими-то нестоящими, временными. Поэтому он уехал, не прощаясь. Поэтому не писал. Что толку писать? Он знал, что когда-нибудь вернется. Он хотел появиться, так сказать, на щите, хотел, чтобы у Ольги сгладились воспоминания о том, прежнем Кольке Монахине, который даже не растерялся, а просто-напросто потерялся, когда лишился всего, что с таким трудом получил, чем так гордился, – лишился и университета, и комсомола, и незапятнанного имени.

Какое счастье, что он тогда сам написал заявление об отчислении с факультета! Какое счастье! Если бы он был изгнан, его никогда не приняли бы в летную школу...

Теперь он стал другим человеком. Теперь он все начинает заново. И заново же нужно строить личную жизнь, это понятно. Но как странно: ее ни с кем строить не хочется – только с Ольгой, все с той же Ольгой Аксаковой.

Только она как-то странно себя ведет, честное слово! Какого холоду на себя напустила! Тут что-то не то.

Секундочку... А если у нее появился парень? Весь сегодняшний вечер, который Николай провел у Русановых, он пытался исподтишка выяснить у ее тетки и деда, не нашла ли Ольга себе другого. Но, конечно, приходилось ходить вокруг да около – впрямую ведь такого не спросишь. По их репликам можно было понять, что беспокоиться вроде бы не о чем, хотя, понятное дело, родственники о таких делах узнают последними.

И все-таки Ольга будто ему чужая и вообще сама не своя.

А может, она там, на окопах, с кем-нибудь спелась? Нет, само собой, какой-нибудь работа мобилизованный никакого сравнения не может выдержать с боевым летчиком Монахи-

ным, да все же не вредно это как-нибудь выяснить... поосторожней, поделикатней... Разведку провести, вот что!

– Оль, ну как там было, на строительстве? – спросил, поигрывая глазами. – Расскажи что-нибудь интересненькое про свои трудовые подвиги.

Но Ольга смотрела на олады, как будто ничего интересней на свете не было. И ела, ела... Конечно, живут Русановы не бог весть как достаточно, размышлял Монахин, сметаны на столе нет, масла, чувствуется, в обрез, ладно хоть медом где-то разжились. Нет, честно, Ольге прямой резон выйти за него замуж. И сама продуктовым пайком будет обеспечена, и тетушке с дедом кой-чего перепадет.

И ничего страшного, что у нее мать сослана. Сейчас на такие вещи уже спокойней смотрят. Война, вот что главное! А когда Ольга фамилию сменит, о ее матери и вовсе забудется.

– Да, Олечка, расскажи, – подхватила тетя Люба. – Какая ты худая, ужас! Вас что, плохо кормили?

– Да все по законам военного времени, ничего страшного. А где сейчас хорошо кормят, интересно? – пожала плечами Ольга.

– Дома, – ласково сказала тетя Люба. – Дома кормят хорошо. Вот, оладушки кушай, а завтра такой борщ наварим... Схожу на базар с утра пораньше, может, косточку мозговую найду, уж разоримся для такого дела.

– Ну, разве вы ее борщом удивите! – хмыкнул Николай. – Она же из деревни приехала, их там небось борщами закармли!

– Что-то не похоже, – пробормотал Константин Анатольевич, поглядывая на заострившееся лицо внучки.

Он весь вечер молчал, размышляя, в чем же Оля так изменилась, что он ее с трудом узнал. Конечно, похудела, но главное не это. Она пережила какое-то страшное потрясение и держит его в себе. Если бы они были одни дома, втроем: он, Любаша и Олечка, – девочка все бы рассказала и ей стало бы легче. Принесло же именно сегодня Монахина! И дернула же их с Любашей нелегкая пригласить его остаться ночевать!

– Кормили нас недоваренным горохом, – вдруг сказала Оля, не поднимая глаз от тарелки. – Утром и вечером. Каждый день. Не знаю, почему он всегда был такой сырой и жесткий. Наверное, поварихе неохота было пораньше его ставить варить. Наши женщины говорили ей, что нужно горох замачивать перед варкой и соду добавлять. Хотя, может, у нее соды не было? И он не размокал, небось не летошний был, а прошлогодний или еще того древнее. Да ладно, горох был хотя бы горячий, – махнула рукой Оля. – Все-таки хорошо поесть горячего, перед тем как на холод идти или как придешь с холода. Днем-то на обед выдавали пайку хлеба. Триста граммов. Мы хлеб носили вот тут, на груди, – она показала рукой. – Просто так в карман положишь – он промерзнет. Знаете, как там студено было, на ветру! Времени на обеденный перерыв нам не давали: уполномоченный у нас строгий был, очень строгий, ну так мы подбежим ненадолго к костру (там чуть ли не целый день костры горели), на палочку хлеб нанижем, обжарим чуть-чуть и бегом к своему участку. На ходу жуем: перемажемся все как чертихи! Сверху-то он обгорал, а внутри оставался сырым, вязким. Совсем как мыло хозяйственное. Одно слово, что хлеб. Его же знаете как пекли? Добавляли тертую картошку, чтобы вес больше был. Вроде бы триста граммов, а кусочек крохотулечный такой... Так что никакого борща. Там даже воды вдоволь не было, чтобы помыться: вышло распоряжение запирать колодцы на замки, чтобы какие-нибудь шпионы не могли туда отраву бросить. Поэтому мы последнее время даже и не умывались. Помнишь, тетя Люба, – вдруг усмехнулась Ольга, – когда мне повестку прислали, что на строительство мобилизуют, – там памятка была, мол, с собой и то, и то, и то взять...

– Кружку, чашку, – закивала тетя Люба, – котелок или чайник, одну-две смены белья, постельное белье, наволочку для матраса, рукавицы, продуктов на три-четыре дня и справку о санобработке...

– Справку о санобработке, ой, я не могу! – фыркнула Ольга. – Постельное белье! Ты мой мешок разбери – и увидишь, что оно даже не тронут. И матрасовка тоже. Какое там белье, когда в деревне в избах даже не для всех место нашлось? Почти все сараи были заняты. – Лицо Ольги вдруг пошло судорогой, но она сумела кое-как сдержаться. – Кто порасторопней, тетки сормовские, автозаводские, – те первым делом кинулись места занимать в деревне. А таким дурам, как я, мест не хватило. Для нас вырыли землянки. Пока мужики работали, мы ждали – стояли под открытым небом у костров. Почти сутки ждали. Потом к нам туда бочки железные поставили, начали топить. Бочки были вместо печек, понимаете? Ужас... У меня как начала голова в первую ночь болеть, так и болела всегда, постоянно. Но хоть тепло... Никаких нар или топчанов не было. Накидали на земляной пол еловых веток, вот и все. Ну, в принципе, те, кто в деревне устроился, тоже на лапнике спали. Откуда ж сена на матрасы такой ораве набрать! Ладно хоть ельник был неподалеку.

– А... а вечером? – дрожащим голосом проговорил Константин Анатольевич. – У вас был организован какой-нибудь культурный досуг по вечерам? Клуб там был, в той деревне? Дом культуры?

– Ага, конечно, – насмешливо кивнула Ольга. – Клуб был, только заколоченный. Окна, двери – все досками крест-накрест. При нас его и заколотили. Уполномоченный, который с нами приехал, велел так сделать, сказал, что в тяжкую годину народ должен отказаться от глупых зрелищ и отдавать все силы победе. Ну, мы и отдавали. Ты знаешь, дедуль, мы ни о каком досуге думать вообще не могли, только бы упасть и уснуть. Первым делом, как только до землянок добирались, валились на лапник – и все, как умирали. Потом нас на ужин будили. Потом опять спали. Вставали в семь, работали до восьми, до девяти вечера, по тринадцать, четырнадцать часов, до потери сознания...

– Как – по четырнадцать часов?

– Как – до потери сознания? – воскликнули в один голос тетя Люба и Константин Анатольевич.

– Да вот так, – зло ухмыльнулась Ольга, отталкивая от себя тарелку. – Очень обыкновенно! Особенно в наши дни, женские дни. Чего ты так кривишься, Колечка? – повернулась она к Монахину. – Противно слушать? Неприлично говорить о таком? Ничего, ты же сам всегда повторял: что естественно, то не безобразно. Ну так это вполне естественно! А ты что, не знаешь, что у женщины бывают месячные? Некоторые в такие дни вообще встать не могут. Я тоже брякнулась без чувств, когда за носилки с землей взялась. Упала и лежу. Очнулась кое-как, вижу, уполномоченный надо мной с пистолетом скачет: вставай, мол, притворщица, или застрелю.

– Что ты говоришь, Оля? – крикнула тетя Люба.

– Ничего, – она опустила голову. – Извините. Зря я вас расстраиваю, про все говорю. Для вас это – какие-то страшные сказки. Но, честно, он бы меня, наверное, и в самом деле застрелил, потому что я не могла встать. За меня вступился один человек с Автозавода. Его звали Григорий Алексеевич Москвин.

– Григорий Алексеевич? – повторил дед. – Я знал одного человека с таким именем. Правда, его фамилия была Охтин. Это был прекрасный, благородный человек!

– Охтин – благородный? – неожиданно взвилась тетя Люба. – Да страшней его на свете не было!

– При чем тут какой-то Охтин? – закричала Ольга. – Его фамилия была Москвин! Я ничего не знаю про вашего Охтина, но если бы не этот Москвин, меня уже убили бы. А так вместо меня убили его!

Онемевшие дед и тетя Люба уставились на нее, только эхом выдохнули:

– Как – убили?!

– Кто убил?! – вскочил Николай.

– Да говорю же, уполномоченный! – продолжала кричать Ольга. – Младший лейтенант Дудак. Ранил его в грудь. И Григория Алексеевича даже не перевязывал никто. Я сама как-то ему рану прижала. Я говорила, тетя Люба, что постельное белье не трогала... нет, я наволочкой и полотенцем его перевязала. Там все в крови сразу стало, у него на груди. А потом он мне велел ничего больше не делать, повязку не менять, потому что, сказал, все равно умрет. Ему только надо одного человека дожидаться.

– Какого человека? – спросил Николай.

– Он дождался? – разом, с одинаковым всхлипом спросили дед и тетя Люба.

Ольга кивнула.

– Кто он?

– Майор из НКВД. Его фамилия Поляков. Он меня домой привез.

– Майор НКВД привез тебя домой? – раздельно повторил Николай. – Вы что, знакомы?!

– Ну да, – зло хохотнула Оля, – мы с ним, можно сказать, друзья. Я его сто лет знаю. Ну, не сто, а четыре года. Помнишь, Коль, когда мы с тобой заявления в военкомат подавали, чтобы нас в Испанию отправили, меня вызвали к военкому? Там был Поляков. Он меня домой отпустил. А ты в военкомат тогда не пошел, уехал: сказал, что нас арестуют, если мы придем. Помнишь? Я думала, ты просто так куда-то уехал, на молодежную стройку, например, а у тебя, оказывается, уже заявление было в летной школе. Ты в Одессу уезжал, а мне ничего не сказал. Помнишь?

Николай покраснел.

– Я хотел, но... – неуклюже начал объяснять он. – Я думал, что напишу тебе потом...

– А почему ж не написал? – прищурилась Ольга. – Почему потом-то не написал, а?

– Ну, так... – дернул плечом Николай. – Неожиданно вернуться хотел и удивить тебя!

– Серьезно? – удивилась Ольга. – Всего-навсего удивить хотел? А я думаю, тебе было страшно со мной переписываться. Вдруг кто-то узнает, что ты с дочкой репрессированной Аксаковой в переписке состоишь? Это бы твою блестящую летную карьеру погубило. Вот ты и решил держаться от меня подальше.

– Оля, стыдно такие вещи говорить, – строго сказал Константин Анатольевич.

– Да, – кивнула тетя Люба, – стыдно. Николай ничем не заслужил...

– Неужели? – хмыкнула Ольга. – Неужели не заслужил? А скажи, *Колечка*, – в голосе ее зазвучала издевка, – сам скажи, заслужил или нет?

Тот угрюмо смотрел в пол. Потом поднял голову, но в глаза Ольге не смотрел.

– Ты, наверное, забыла, *Олечка*, – он точно так же выделил голосом ее имя, как Ольга перед тем – его, – *почему* меня сначала из комитета комсомола курса вывели, а потом и вообще исключили. Почему предложили заявление на отчисление из университета написать. Забыла? А ведь все из-за тебя! Из-за того, что я на кладбище пытался миром уговорить Александру Константиновну, вместо того чтобы ее силой от того креста оттащить, чтобы в милицию ее сдать. А потом – из-за того, что я с тобой разговаривал, что книжки твои в библиотеку сдал. Я ведь еще тогда сразу мог уехать, но я остался. Я с тобой был, встречался с тобой, у нас были *отношения*!

Тетя Люба чуть слышно ахнула. Константин Анатольевич стиснул на коленях плед и поблел:

– Что?!

– Я, может быть, – бессвязно бормотал почти лишившийся от обиды соображения Николай, – я, может быть, думал вернуться и жениться на тебе! Я даже не знал, что ты связалась

с каким-то энкавэдэшником, который, может быть, твою маму в ссылку упек! Получается, ты теперь будешь его сотрудником вместо этого Москвина?

– Да ты рехнулся! – вскочила Ольга. – Москвин был сексотом Полякова? С чего ты взял? Его же убил уполномоченный НКВД!

– А он мог не знать! – заорал Монахин. – Наверняка этого Москвина нарочно к вам сунули, ваши настроения выявлять, а уполномоченного не предупредили, вот он и шлепнул дядьку, неувязочка вышла! Так что остался Поляков без своего человека, и теперь он тебя будет обрабатывать. Готовься, скоро он тебя вызовет к себе и скажет, что в интересах нашей скорейшей победы над фашистами ты должна будешь... – Он быстро, проворно что-то отстучал по краю стола. – С кого начнешь? С меня? А говорят, там требуют сначала рассказать всю подноготную своих родственников – для доказательства благонадежности. Ну, ты про кого первым делом...

Николай не договорил. Ольга, мрачно, исподлобья смотревшая на него, вдруг схватила с тарелки пару оладий и засунула их в кричащий рот Николая.

Он ахнул, подавился, отпрянул, выплюнул оладьи прямо на стол, но Ольга тут же сгребла их в горсть и швырнула в него.

– Пошел вон! – закричала пронзительно. – Чтоб я тебя не видела больше! Никогда!

Упала головой на стол и зарыдала.

– Боже мой! – стиснула руки на груди тетя Люба. – Да что же это?!

Николай яростно посмотрел на светлую кудрявую Ольгину голову, лежащую меж разбросанных оладий, на ее дрожащие плечи, дернул углом рта и ринулся в прихожую.

– Куда? – слабо окликнула Монахина тетя Люба. – Ведь комендантский час! У тебя же ночного пропуска нет! Как ты будешь добираться?

Но в прихожей уже хлопнула дверь.

Тетя Люба подобрала дрожащие губы, едва удерживая слезы.

– Оля, не плачь, – сказала тихо. – Не плачь, родненькая.

– Я не могу... – бормотала Оля в стол, – не могу остановиться... Но это ничего, ничего, это пройдет... Наверное, это у меня от усталости, я отдохну – и все пройдет. Но ты говори, тетя Люба, ты говори, что я твоя родненькая. Мне это так нужно! Мне так нужно это слышать, так нужно знать, что я не одна, что вы у меня есть! Я не хочу быть одна!

– Гос-по-ди, – протянула с тоской тетя Люба, – да что же это за жизнь? Некуда девчонке голову приклонить! Ну ладно, мы с дедушкой твоим уже старенькие, можно сказать, отжили, а ты, молодая, милая, хорошая, ты-то за что страдания терпишь! Шурик умер, мама твоя... Ох, господи, неведомо, жива ли мама твоя. После тех двух писем – ничего, ни словечка... А с нами случится что вдруг – как ты одна останешься?

И она заплакала-таки, не смогла удержаться.

– Тихо, Любаша, – сказал Константин Анатольевич и сердито постучал по ручке кресла сухим веснушчатым от старости пальцем. – Тихо, не плачь. Она не останется одна. Ты меня послушай, Олечка. Помнишь, ты видела у меня в кабинете такую папочку картонную, старинную, с газетными вырезками? Ты меня спросила, почему они все про Париж? Помнишь, а? Там про то, как немцы еще в империалистическую войну Париж обстреливали, и про выставки, и про художников на Монмартре, и про то, как Маяковский в Париже был и какие стихи там писал... «Татьяне Яковлевой о сущности любви»... И про новые модели «Рено» и «Ситрое-нов», и про то, что в Париже Петлюру застрелили, про то, что Мережковский призвал русских эмигрантов с Гитлером сотрудничать... Ну и вообще про жизнь! Эта папка – тайна! – прошептал Константин Анатольевич. – Это тайна, почему я вырезки про Париж всю жизнь собираю. Я свою тайну от всех хранил. Никто не знал: ни Шурка, ни Сашенька, ни папа твой, Митя Аксаков. Олимпиада и Лидия знали, тетушки Шуркины и Сашенькины, но тетя Оля еще в 18-

м умерла, да и Лидуси, конечно, уже нет в живых. Думал, никому не открою, но сейчас вижу, что надо сказать. У меня была жена, Эвелина Николаевна...

– Ну да, мне Шурик рассказывал, – всхлипнула, кивая, тетя Люба. – Она утонула в Италии, когда вы с ней в путешествие туда ездили. Уж и не упомяну, в каком, он говорил, году. Давно!

– Она жива.

– Что? – Оля вскинула голову. Глаза ее были заплаканы, и она не сразу поняла, что у деда так блестят глаза потому, что они тоже полны слез.

– Жива, – торжественно повторил Константин Анатольевич. – Наверняка она еще жива! Она младше меня, да и в Париже ведь жизнь другая, не как у нас. Она там вышла замуж за француза, ее фамилия теперь Ле Буа, Эвелина Ле Буа. А дом ее мужа где-то около площади Мадлен. И ты вот что, Олечка, – настойчиво постучал он по плечу плачущей внучки, – ты вот что, ты не плачь! Помни, даже если с нами с Любочкой что-то случится, у тебя есть куда пойти. В Париже, около площади Мадлен, живет твоя родная бабушка. Ты ей все расскажешь, и про Шурика, и про Сашеньку...

– Дедуль, ты что? – надрывно дыша, спросила Ольга. – Издеваешься? Какой Париж! В Париже сейчас тоже война, в Париже немцы, а если бы даже и войны не было, то как, господи боже, попасть в этот самый Париж? Скажи, как?

– Я не знаю, – ответил Константин Анатольевич. – Не знаю. Я только одно знаю: тебе в случае чего будет легче жить оттого, что где-то есть на свете такой город – Париж и у тебя там есть хоть одна родная душа. Понимаешь?

Слезы уже вовсю катились по его морщинистому лицу, и Ольга больше не стала спорить: сползла со своего стула на пол, снова положила голову на дедовы колени, да так и замерла.

Тетя Люба, начавшая убирать со стола, сделала какой-то странный, круговой жест ладонью, показывая на Олину голову. Константин Анатольевич сначала не понял, но наконец сообразил и осторожно положил руку на Ольгину голову. Тетя Люба кивнула, мягко повела рукой по воздуху. Константин Анатольевич слабо, чуть касаясь, начал гладить Ольгин затылок, на котором мелко завились светлые кудряшки.

Ольга еще изредка всхлипывала, но постепенно затихла, и плечи ее перестали вздрагивать.

* * *

– Вы кого ждете, девушка? – Из высокой, обитой черной клеенкой двери отдела кадров, рядом с которой уже больше часа сидела Ольга, выглянула толстая женщина в ярком крепдешинном платье и надетом на него грубом, неуклюже сшитом пиджаке.

Ужас, конечно, ну и что, после какого-то фильма, в котором так была одета сама Любовь Орлова, многие женщины сочли наряд последним криком столичной моды. Особенно почему-то старались так одеваться бухгалтерши или сотрудники всяческих отделов кадров. Хотя, насколько Ольга помнила, Любовь Орлова играла в том фильме не бухгалтершу и уж, конечно, не кадровичку.

– Кого ждете, спрашиваю?

– Начальника.

– Товарища Конюхова? А вам он зачем?

– Да я на работу хочу устроиться.

– Вы инженер?

– Нет, я слышала, нужны люди в заводской медпункт.

– Да там есть врачи, и сестры есть. Только санитары требуются.

– Я и хочу санитаркой.

– Санитаркой? Вы?!

Женщина так и вытаращила глаза, оглядывая Ольгино синее платье с белым воротничком. Было оно, конечно, красоты необыкновенной. Его сшила тетя Люба, еще когда Оля ходила в девятый класс. Сшила из настоящей шерсти, может быть, даже еще дореволюционной, отрез которой подарила тетя Клара Кравченко (для нее самой из того лоскута платье сшить было невозможно, не поместилась бы в него тетя Клара). Потом Оля подросла и тоже немножко поправилась, но вернулась с рытъя окопов такой похудевшей, что платье надела с легкостью. Его пришлось выпустить по подолу, чуть удлинить, вот и все. Ольга с удовольствием смотрела на свое отражение в зеркале, но, судя по взгляду женщины-кадровички, платье сидело отвратительно и вообще ей совершенно не шло.

– А вы раньше где работали?

– В военном госпитале на Гоголя.

– Вас уволили?

– Почему? Нет.

– Вы что же, ушли оттуда? Сами уволились?

– Ну... пока еще нет, но собираюсь. Ищу работу на всякий случай.

Кадровичка смотрела, недоверчиво покачивая головой. С ее точки зрения, всякий вольнонаемный, кто решался уйти из военной организации (любой, будь то завод, госпиталь или, скажем, военкомат), был сумасшедшим. Там же пайки – не сравнить ни с какими гражданскими. И бесплатный проезд на городском транспорте. А раз в год – и на поезде. Разве можно сравнить с госпиталем завод имени Ленина?!

Ольга все это читала в глазах кадровички. Оттого и не стала говорить, что из госпиталя ее, считай, уже выгнали. Как узнают, что она дезертировала со строительства укреплений, так и последует приказ. Можно вообще туда не возвращаться. Правда, трудовая книжка там. Ну, за ней тетя Люба ходит. Конечно, если сказать, что Ольгу увез с окопов майор НКВД, это будет признано уважительной причиной, но как объяснить, *почему* он ее увез? Она ведь и сама понять не могла. Поляков просто сказал дрожащему от страха младшему лейтенанту Дудаку: «Девушка уедет со мной. Я заберу ее на обратном пути из Запахи». И в самом деле вернулся за Ольгой через два часа, и всю обратную дорогу до Энска она жалась в уголок заднего сиденья «эмки», глядя в высоко подбритый затылок сидевшего впереди майора и не вполне соображая, что происходит, изредка ловя в зеркале заднего вида недоуменные, косые взгляды шофера.

Так ничего не объяснив, Поляков велел остановить машину на углу улицы Фигнер, рядом с площадью Минина, сухо попрощался с Ольгой – и исчез из ее жизни так же внезапно, как ворвался в нее.

Ну да, она сама ничего не понимала в случившемся, как же могла объяснить кому-то другому? Всякому в голову придет прежде всего то, что пришло Кольке Монахину, – Ольгу все будут считать сексотом НКВД. С ней никто и слова не пожелает сказать!

Она решила не возвращаться в госпиталь. Но где найти работу? Случайно услышала, что нужны опытные санитары в медпункт завода имени Ленина. Понятно, почему там всегда нужны люди: завод далеко, на Арзамасской дороге, не всякий захочет ездить туда из города на трамвае почти час, а иногда и дольше. Тем паче с началом войны в городе часто выключали электроэнергию, трамваи ходили нерегулярно, а потому десятикилометровое расстояние до завода и обратно приходилось часто одолевать пешком и с опаской – только бы не было воздушной тревоги, ведь от бомбежки здесь укрыться негде, кругом пустыри.

– Ну, не знаю, не знаю... – Кадровичка покачала головой. – Санитаркой? Не знаю! Во всяком случае, решать будет товарищ Конюхов. А его вызвали в райисполком вместе с нашим директором и главным инженером, неизвестно, когда вернется. Сейчас уже четыре, вряд ли дождетесь. Вообще его лучше с утра ловить, сразу после планерки.

Что ж, с утра так с утра. Опять туда-сюда мотаться на трамвае, но что ж поделать. Ольга поблагодарила кадровичку, которая снова смерила взглядом ее платье (теперь ее откровенное неодобрение вызвал изящный и нарядный, связанный из катушечных ниток воротничок: тетя Люба – великая рукодельница!), и вышла из заводоуправления, кутаясь в пальто и натягивая на волосы тонкую белую шаль. Шаль была тети-Любина. Она нарочно дала ее Оле – пофорсить. А сама сейчас сидела дома и вязала ей шапочку и шарф из каких-то разномастных клубочков, которые наскребла по сусекам и дальним ящичкам со старьем. Прежний Олин платок так и остался лежать в Кузнечной пристани под головой того странного человека, Москвина... Царство ему небесное! Интересно бы знать, где его похоронили. В город привезли или на деревенском погосте теперь его могилка?

Ольга дошла до заводской проходной и увидела за оградой сотни две людей, ждавших, когда вахтер откроет проходную и начнет выпускать их на улицу. Окончилась смена, все устали и спешили домой.

«Хорошо, что в заводоуправление вход снаружи, а то я бы там надолго застряла», – подумала Ольга, ускоряя шаг, чтобы поскорей добраться до трамвайной остановки, пока туда не подвалила толпа. Вагон уже приближался к остановке, и она почти побежала.

Раздался рев моторов сверху. На бегу Ольга вскинула голову и увидела низко летящий огромный серый самолет. На фюзеляже не было никаких опознавательных знаков.

«Наверное, наш, – подумала она. – Ну да, раз фашистских крестов нет, значит, наш». И замерла с запрокинутой головой, не отрывая глаз от неба, откуда, чудилось, прямо на нее валилась огромная черная бомба.

Да нет, ей померещилось...

Она опустила голову, чтобы не видеть этот ужас.

– В укрытие! – закричали за решеткой. – В убежище! Тревога!

Взвыл сигнал, но его заглушил взрыв: на территорию завода упала бомба. Грохот раздался такой, что мгновенно оглохшая Ольга упала наземь.

Кто-то перескочил через нее, пробежал дальше, спотыкаясь и оскальзываясь на обмерзлой земле. Кто-то взвизгнул:

– Вставай! Беги, убьют!

Ольга кое-как поднялась, оглянулась.

Там, откуда она только что вышла, на месте здания заводоуправления, клубилось черное облако, из которого торчали бесформенные сплетения балок и арматуры. Страшный крик несясь оттуда, но он был заглушен воем и разрывом новой бомбы. И еще, и еще...

Взрывная волна повалила Ольгу, но она кое-как смогла подняться и сквозь дым, пыль, чад разглядела, что несколько десятков человек все же прорвались через проходную. Они побежали мимо, куда-то помчались – прочь от завода, прямо по перекопанному после уборки картофеля полю, по высоким, замерзшим, запорошенным снегом кочкам.

Снова разрыв!

Ольга сорвалась с места, ринулась за этими людьми.

Рев мотора не утихал.

– «Юнкерс»! – закричал кто-то. – Скорей, ой, скорей бежим!

Казалось, самолет гонится за людьми. Ольга не решалась посмотреть вверх, глядела только под ноги, чтобы не споткнуться на обмерзлых кочках и не упасть. Вдруг в земле впереди образовался ряд аккуратных дырочек. Полетели в разные стороны клочья желтой травы, брызнула земля.

В них стрелял пулемет отбомбившегося «Юнкерса»!

– Ложись! – истошно закричал мужской голос. – Ложись, дура, убьют!

Ольга оглянулась и увидела, что все люди, которые бежали по полю, упали прямо на кочки и лежат. Она только что собралась последовать их примеру, как люди вскочили и снова бросились вперед.

Опять застрочил пулемет и раздался крик:

– Ложись!

Ольга немедленно рухнула наземь, грудью на кочку. Показалось, что-то оборвалось внутри, но она не чувствовала боли, только страх. Кто-то громко застонал неподалеку. Ольга посмотрела – женщина, беременная! Двое мужчин подскочили к ней, подхватили под руки, повлекли вперед, но потом, когда сверху снова застрочил пулемет «Юнкерса», они все втроем упали. И снова вскочили, пустились в бег, и снова упали...

«А ребенок? – с ужасом подумала Ольга. – Ему же больно на кочки! Ему же больно!»

И тут же забыла обо всем, когда новая пулеметная очередь прочертила дорожку почти под ногами. Рухнула, вскочила, побежала, рухнула, вскочила, побежала...

«Юнкерсы» гнали людей по полю. Кто-то падал и уже не поднимался...

– Сюда! Сюда! – раздались крики, и Ольга повернулась на голоса, трясая головой, пытаясь избавиться от звона в ушах и разогнать кровавую мглу в глазах.

Боже мой, дома! Деревенские дома вокруг! Как они тут оказались? Да, кажется, километрах в пяти от завода находится деревня Дубёнки. Неужели туда прибежали? А чуть ли не рядом с каждым домом торчат направленные в небо стволы зениток...

– Заходите в дома! Прячьтесь! – раздавались голоса со всех сторон.

Ольга влетела в какой-то палисадник, прогрохотала по крыльцу, ворвалась в темные сени. Немедленно за ее спиной захлопнулась дверь, тяжело лязгнув, входя в пазы, засов, и Ольга вдруг затряслась от истерического хохота, осела на пол, привалилась к стене. Было невыносимо смешно, что хозяйка так накрепко заперла дверь, словно бояться, что бомбардировщик в нее влетит. А он же в небе! А он же огромный! А он же сразу раздавит и этот дом, и соседний, и еще несколько, если вздумает влететь в дверь!

И тут Ольга подавилась смехом. Такого грохота она еще не слышала. Залп! Залп!

Зажала уши, скорчилась, почти теряя сознание от страха...

Да кончится ли это когда-нибудь? Кончится ли когда-нибудь война? Неужели еще несколько лет придется сидеть вот так, спрятав голову в коленях, и ждать, пока закончится налет?!

– Девонька, эй, отомри... – Мягкий женский голос показался неожиданно громким.

Ольга с трудом разогнулась, подняла голову. Бабуля с морщинистым, «печеным» личиком смотрела на нее слезящимися глазами.

– Улетели, ироды. Слышишь, какая тишина? Все кончилось. Хочешь, я тебе молочка налью и хлебца дам? Поешь, легче станет.

У Ольги спазмом скрутило желудок при одном только упоминании о еде. Слабо покачала головой:

– Нет, спасибо. Я не смогу сейчас есть. Все кончилось, вы говорите? Можно уходить?

– Ну иди, коли силы есть, – кивнула бабуля. – Охти мне, охтенки, да ты на ноги свои посмотри!

Ольга приподняла подол. Да, вот уж правда – охти, да еще и охтенки... Чулки разодраны в клочья, колени в крови и грязи. Разбила, когда падала. И даже боли не чувствовала, только теперь зашипало. И ребра как занули! Не сломала ли?

– А ну садись! – засуетилась бабуля. – Снимай эту рванину, сейчас замоем раны твои, завяжем.

– Ничего, – махнула рукой Ольга, стискивая зубы – так вдруг засадило разбитые колени, что кричать хотелось. – Я дома все сделаю, промоем, я ведь медработник.

– А коли ты медработник, то знаешь, что нельзя так идти. Мало ли какая зараза могла попасть! Садись, живенько садись, у меня, конечно, лекарств никаких нет, но я твои коленки ромашковым отваром с тысячелистником промою, он у меня всегда наготове, для желудка, а заодно и тебе сгодится. А потом завяжу чистенькими тряпочками. Домой придешь – по-своему сделаешь, если захочешь, а лучше до завтра не трогай. Я ведь и пошепчу, оно, глядишь, поможет не хуже какой-нибудь мази...

И не успела Ольга глазом моргнуть, как она уже сидела босая на одном табурете, уложив ноги на другой, а хозяйка обмывала ее израненные колени. Никакого *шепота* Ольга не слышала, но, может быть, что-то значило это беззвучное шевеление сухих старушечьих губ? Может быть, шелест, который издавали они, обладал целительным действием? Станным образом даже ребра ломить перестало. Наконец исстрадавшиеся колени были обмыты, обмотаны белыми узкими полосами ткани, а на ноги бабулька натянула Ольге застиранные, штопанные-перештопанные чулки.

– Ты прости, кабы были чулочки поновей, я б тебе отдала, не жалея, но у меня новые на *обряжанье* приготовлены, оттуда не возьму, примета злая, – пояснила она. – Ничего, эти чистенькие, носи на здоровье.

– Ой, спасибо большое, – бормотала Ольга, разглядывая свои колени, ставшие толстыми и неуклюжими. Идти враскоряку придется. Ужас.

Хотя, если вспомнить, что было на том поле, то не ужас, а просто ничто. Суета сует.

– Спасибо большое, я вам чулки привезу, обязательно привезу. Завтра же! А может быть... – Она сунула руку в карман и покраснела от неловкости. – У меня денег не очень много с собой, но хоть что-то... возьмете? Возьмите, пожалуйста!

– И говорить такое не стыдно? – покачала головой хозяйка. – Сама не знаешь, что молодишь.

– Простите, – кивнула Ольга. – И правда не знаю. Простите меня, не сердитесь, ради бога!

– Ну ладно, коли бога вспомнила, так и быть, прощу, – смягчилась бабуля. – Чулки себе оставь. Положи в комод, и пусть лежат. Небось места не пролежат! Пока они у тебя в комодке будут, ты всегда домой вернешься. Где бы ни была и что бы с тобой ни случилось. А станешь через два года замуж выходить, поноси их немножко перед тем, как в постель с мужем ляжешь. И дочке то же накажи либо невестке. И внучке. Тогда детей здоровых нарожаете. Ну а выбросишь чулки или кто другой их выбросит – тут уж не знаю, тут уж как господь распорядится! – развела она руками.

Ольга слушала как зачарованная, расширив глаза. Она выйдет замуж через два года? А за кого? И у нее будет дочь или сын, а потом и внучка? А как она их назовет?

Бледный сумрак вдруг за клубился перед мысленным взором, и из него выступило слабо различимое мужское лицо... темные глаза... Нет, не разглядеть... И детское личико, которое мелькнуло с ним рядом, тоже не разглядеть!

– Ладно, ладно, ишь, заслушалась, – усмехнулась старушка, и Ольга очнулась, моргнула. Морок пропал. – Теперь ты мне чего-нибудь расскажи. Ты сама откуда, с Лензавода, что ли? Там, наверное, ужаси ужасные, все повзрывалось?

– Нет, я не с завода. Я из города приехала, хотела на завод работать устроиться, а тут...

– И-и, погляди-ка! – всплеснула руками хозяйка. – Ну, знать, не судьба тебе тут работать. Знать, судьба тебе на старом месте сидеть несходно! Бог уберег, ты бога-то поблагодари. Слышала я, будто в Высокове церковь открылась, раньше забитой стоявшая, правда или нет?

– Открылась в самом деле, – кивнула Ольга. – И бывшая церковь Спаса ремонтируется, там архив помещался. И даже в газетах было, что блюститель патриаршего престола митрополит Сергей разослал воззвание по епархиям с призывом мобилизовать народ против фашизма. Мол, церковь всегда была неотделима от народа.

– Это правда, – сказала бабуля. – Как ни отделяли ее, а она так и осталась неотделимой.

– Моя тетя теперь часто ходит в Высоково, – добавила Ольга.

– Тетя тетей, а ты сама туда сходи, поблагодари Отца нашего небесного, что спас тебя и охранил, – строго велела бабуля. – А то, глядишь, попадешь снова в такую же переделку, а он от тебя и отвратит взор свой благосклонный, не выручит. Так что сходи, слышь?

– Схожу, – пообещала Ольга, наклоняясь к крошечной старушке и целуя ее пергаментную щеку. – Спасибо вам. До свиданья!

– Иди, иди. Да про церкву не забудь! – перекрестила ее хозяйка. – И чулки береги!

Ольга надела тети-Любин платок – он был перепачкан землей и порван в двух местах, пришлось его вывернуть наизнанку, – вышла за околицу деревни, на край поля – и остановилась. Вот там бежала она, там падала. Что это чернеет вдали меж кочек? Да это люди! Люди, которые бежали вместе с ней, падали рядом с ней – и не могли подняться, прошитые пулями. Они убиты! А вдруг кто-то живой остался?

«Я ведь санитарка! – вдруг вспомнила Ольга. – Я могу помочь. Я должна помочь! Надо пойти посмотреть».

Донесся вой сирены, и Ольга увидела несколько фургонов «Скорой помощи», которые со страшной скоростью неслись со стороны города.

Она вздохнула было с облегчением, но ни одна машина не замедлила ход – все мчались туда, где висела огромная черно-красная туча. С трудом Ольга поняла, что висит она на месте завода. Да, сейчас «Скорой помощи» не до тех несчастных, что лежат на поле. Надо идти ей.

Она все никак не могла решиться ступить на промерзшую, перекопанную землю, сделать хотя бы шаг по этому полю. Казалось, весь недавний ужас... как она бежала, падала, вскакивала... сразу же вернется.

«Меня могли убить здесь. И тогда... тогда, получается, тот человек, Григорий Алексеевич Москвин, погиб бы зря?! Но я осталась жива. И если я сейчас сбегу домой, то будет подло – потому что он погиб ради меня!»

Ольга ступила с утоптанной земли на распаханную, вздыбленную и медленно, оскальзываясь, побрела, глядя перед собой на неподвижное тело, черневшее вдали.

* * *

Да уж, воды там было много-много, в этой тихой, широкой реке Вычегде, в которую то справа, то слева вливались другие реки, поменьше, но тоже с низкими, заросшими лесом берегами. Так много воды, что при желании легко было и утопиться. Только такое никому и в голову не приходило!

По Вычегде, в глубь неведомой страны Коми, на баржах везли этап. Ехали сплошь женщины. Вечером, после переключки, всех сурово загоняли в трюм, но днем им разрешали сидеть на палубе, и они, глядя на подступившую к реке буйную зелень, на сонное движение воды, на роскошные закаты, отражавшиеся в тихих, шелковых волнах, порой забывали, кто они, куда и зачем едут.

Небольшие буксиры упорно тянули вверх по Вычегде плавучие тюрьмы, иногда подолгу застревая у маленьких пристаней, где набирали дрова: топки буксиров топили не углем, которого здесь было взять негде, а дровами, которых здесь было великое множество: кругом лагеря, а значит, кругом лесоповалы.

Навстречу баржам плыло по течению множество бревен, не связанных в плоты. Местные называли их «моль». «Почему моль? – думала Александра. – Почему не муха, не какое-то еще насекомое?» Этого выяснить не удалось. Зато она узнала еще два необыкновенных новых слова: «дрын» – палка, и второе, не имеющее отношения к сплаву леса, – «дроля». Оно значило – милый. Однажды баржа стояла на причале – в тишине далеко разносились по воде голоса, и с

берега до Александры долетел насмешливый говорок какой-то женщины: «А ты бы ее дрыном! И ее, и ее дролю!»

Удивившись, Александра спросила у одного из конвойных – он был местный и вроде бы не такой угрюмообразный, как иные-прочие, – что значат эти слова. Он даже на улыбку расщедрился, «переводя».

«Боже мой! – смятенно подумала Александра. – Кто-то живет, любит, ревнует!»

Ей давно не хотелось плакать, после того ужаса в сарае в Рузаевке она запрещала себе слезы, но теперь подумала: а не всплакнуть ли, не дать ли душе послабление? Решила, что не стоит.

Правда, душа все же свое взяла тайком: утром Александра проснулась с мокрыми глазами. Но ночные слезы не в счет, это же понятно. Обиднее всего, что не вспомнить было, из-за чего плакала. А может, оно и к лучшему: не хватает еще днем думать о том, из-за чего над-рывалась ночью!

Жила теперь только «от» и «до». Мыслями и чувствами – «от» и «до».

Все они так жили!

И вот в своем движении на восток они наконец достигли места назначения – Пезмогского комендантского участка. Сначала, правда, пришлось претерпеть неприятную остановку в Сыктывкаре. Здесь женщин высадили с барж и погрузили на автоплатформы с высокими бортами. Влезать на них было очень трудно, в юбках-то, женщины срывались, падали, потом подсаживали друг друга... Охрана с живейшим интересом наблюдала этот «цирк», а досужие мальчишки опять орали про фашисток. Многие женщины вспомнили Рузаевку и снова начали рыдать, но Александра и Катя крепились, изредка бросая друг на дружку грозные взгляды... такие грозные, что даже смешно становилось, ей-богу, ну как будто жизнь их зависела от того, выкатится ли из-под ресниц хоть одна слезинка. А может, и правда жизнь, никогда ведь не угадаешь наперед, что и от чего зависит! Наконец угнездились кое-как на тех поганных платформах, и женщин повезли на окраину города, в какой-то загон под открытым небом, где предстояло провести ночь. Мальчишки бежали по обочинам и орали про фашисток, как нанятые...

При посадке Катя, совсем того не желая, навлекла на себя гнев какого-то местного охранного начальника. Отчего-то его очень заинтересовало, по какой статье отбывает срок эта угрюмая (Катерина, чернявая, смуглая, худая, была красива какой-то мрачной, темной, сильной красотой) женщина. Катерина честно призналась, что у нее нет статьи. Начальник, бывший несколько под хмельком, решил, что над ним издевается «какая-то ээчка», и поднял крик с руганью.

Прибежал сопровождающий, который ехал с этапом из самой Рузаевки, и точно на таких же повышенных тонах и с такими же выражениями доходчиво пояснил, что здесь все без статей. Потому что жены!

– А эта? – Начальник вдруг подозрительно покосился на Александру. – Эта тоже жена?

– Да всякая баба небось чья-то жена! – философически рассудил сопровождающий, не желая вдаваться в подробности дела заключенной Аксаковой.

Начальник, сраженный таким доводом, утихомирился так же внезапно, как раскричался.

А Александра впервые за многие годы вспомнила о Дмитрие.

Жив ли он? В самом ли деле она все еще жена его?

Ее уединенная, увядшая, умершая женская жизнь была вот уже более двадцати лет сосредоточена только в области воспоминаний, да и те не имели к законному, венчанному супругу почти никакого касательства. Все же нельзя, нечестно было идти за него замуж, рассуждала уже в который раз Александра, если любишь другого так, как она любила Игоря Вознесенского. Конечно, она была обречена на измену Дмитрию, и если бы только Игорь согласился, измена эта свершилась бы гораздо раньше и одним разом не ограничилась, конечно. Но... бодливой корове бог рог не дает, вот уж точно.

А интересно, подумала мельком Александра, есть какая-нибудь сила, которая способна выбить из ее головы мысли об Игоре, а из сердца – тоску по нему? Наверное, нет. Она ведь даже о дочери, об отце, брате, который тоже где-то тянет эковскую лямку (о его участии узнать ничего не удавалось, хоть и спрашивала всех, кто прибывал из Энска или области), вспоминает куда реже, о Дмитрие и говорить нечего! Ну, об Оле, Шурке и о папе она просто не разрешает себе думать, а об Игоре – разрешает, да еще как. Это понятно. Ведь встреча с семьей вполне может и не состояться. Везут их не на курорт, не в санаторий, и неизвестно, выживет ли она. Но в таком случае встреча с Игорем там, где им никто мешать не будет, приближается! И о ней можно мечтать, мечтать сколько угодно!

Странная логика, конечно... Но уж какая есть.

На другое утро этап на мелких баржах проследовал по Вычегде из Сыктывкара дальше, и вскоре явился перед Александрой тот самый Пезмогский лагпункт, в котором ей было суждено прожить пять лет.

Лагерь стоял не на самой Вычегде, а в трех километрах от главного течения реки, на ее притоке по имени Локчим. Поэтому вся система расположенных тут лагерей называлась Локчимлаг. И в этой системе один лагерь назывался в честь села Пезмог.

Пезмогский лагпункт являл собой небольшой участок земли, огороженный колючей проволокой и пересеченный бурлящим ручьем. На его берегу стояли баня и жилые бараки, для мужчин отдельно и отдельно для женщин. Кроме того, в черте зоны находился домик, санчасть. Александра подумала – как бы туда попасть на работу... Но в первый же вечер она угодила в карцер, а оттуда выход был только один – на самую тяжелую работу: на раскорчевку пней...

Наверное, был какой-то особый смысл в том, что она, всю свою жизнь любившая чужого мужа, угодила в карцер именно из-за любви женщины к чужому мужу!

Хотя, строго говоря, Сашка-парикмахер не был ничьим мужем, ни Клавки, ни Нюрки. Он был сам по себе. А они его любили, две девки, которые прибыли в Пезмог неделей раньше и уже успели надорвать себе сердца из-за этого самого Сашки. И вот, едва лишь вновь прибывших «каэров»² отвели в предназначенный им барак и они, полумертвые от усталости, сняли с плеч вещевые мешки и повалились на нары, как начался какой-то крик, брань, матерщина, состоявшая по большей части из незнакомых Александре слов (однако узнать их значение ей едва ли когда-то захочется!), а потом в проход выскочили две молодые женщины. Обе сорвали с себя ватники и остались в каких-то пестрых вязаных кофточках (потом выяснилось, что заключенные умелицы вязали их невесть из каких охвостьев шерстяных, хлопчатых, гарусных нитей, отчего и получался такой, с позволения сказать, *le mélange*³) и в кокетливо надвинутых на лоб и приподнятых сзади (по самой последней уркаганской моде!) косынках. Выкрикнув в лицо друг другу совсем уже неудобоваримые оскорбления, женщины кинулись вперед, наострив когти. Они и царапались, и рвали друг дружку за коротко стриженные волосы (косынки уже давно валялись на полу), и жестоко мутузили кулаками со страстью истинных Кармен. Тут-то Александра и прослышала о существовании блистательного Сашки-парикмахера, а потом узнала, как одна изобретательная женщина может называть другую, если оскорблена в самых лучших сердечных чувствах. Наконец охрана, привлеченная шумом и гамом, разлила соперниц водой. Они были растащены в разные стороны одна другой краше – с расцарапанными лицами и всклокоченными волосами.

Тут же появился начальник лагпункта в сопровождении коменданта и выкрикнул, что был приказ: прежде чем войти в барак, следовало вымыть в нем пол и «навести приборочку».

² КР или КРД – контрреволюционная деятельность – такой аббревиатурой определялся состав преступления многих осужденных в те годы. (Прим. автора.)

³ Смесь (франц.).

«А вы посмотрите тут и тут!» – тыкал он пальцем во все стороны. Что и говорить, пол в бараке был и в самом деле довольно грязный, а за бочкой с водой скопился давным-давно не выметенный мусор.

Начальник лагпункта – фамилия его была Мельников – рассвирепел:

– Вы что мне тут змей развели?!

Услышав это, и «каэрки», и уголовницы в едином порыве вскочили на нары и истерически завизжали, вглядываясь в пол в поисках змей. Возмущенный Мельников приказал посадить в карцер драчливых соперниц, а также старост уркаганок и «литерниц», как называли политических заключенных.

Старостой первых была крепкая, с хитрющим взором Надя-Кобел.

«Наверное, начальник хотел сказать – козел? – подумала Александра, которой еще предстояло узнать значение этого странного неологизма. – Но почему к женщине – слово в мужском роде?»

Сейчас, впрочем, было не до лингвистики.

Матеря на чем свет стоит соперниц, Надя-Кобел вышла из строя. Обе драчуни последовали за ней с самым мирным видом.

– А где староста нового этапа? – грозно воззрился Мельников почему-то на Александру.

Она пожала плечами:

– У нас нет старосты, гражданин начальник. Мы только что прибыли и еще не выбрали...

– Вам что, верховный совет выбирать? – прервал ее Мельников. – Ишь, выборы им понадобились! По какой статье?

Глаза его не отрывались от Александры.

– У меня нет статьи, – со вздохом, как о неизлечимой, но привычной болезни, сообщила она. – Определение – КРД.

– Ежу понятно, что КРД, – проворчал Мельников. – У тебя КРД на лбу написано! Ты будешь старостой!

– Прошу мне не тыкать, гражданин начальник, – тихо сказала Александра, которая хоть и устала от этой бесполезной деятельности – перевоспитывать энкавэдэшных невежд, – за которую не единожды была наказана, а все же решилась на очередной рискованный шаг, тем паче – все равно карцер ждет.

– Извольте проследовать в карцер! – мягко сказал Мельников, показав таким образом, что ему не чуждо чувство юмора.

Карцера, собственно, было два. В один важно проследовала Надя-Кобел, прихватив с собой одну из Кармен по имени Нюрка – малокровную блондиночку.

– Совет да любовь, – проворчала стоящая рядом с Александрой зэчка.

Кое-что начало проясняться...

Другой карцер – помещение только что построенное, напоминавшее каменный мешок, в котором со стен текла вода, – пришлось обживать Александре и Кармен по имени Клавка. Помня о Кларе Черкизовой, Александра очень благоволила ко всем носительницам этого имени. Она приветливо улыбнулась Кармен и спросила, кого, собственно, любит Сашка-парикмахер. У той сделалось озадаченное выражение лица:

– А хрен его душу знает! Может, и никого. А может, обе по сердцу.

При этих словах Александра с невероятной отчетливостью увидела перед собой девушку в платочке, похожую на горничную из хорошего дома, и вспомнила, как она, тогда еще Сашенька Русанова, расспрашивала ее на Острожной площади:

– А тот молодой человек, он-то в кого влюблен? В вас или в эту, как ее там, ехидну Раиску?

Девушка, помнилось Александре, призадумалась так крепко, что даже лобик наморщила. Подумала-подумала, повздыхала-повздыхала, а потом растерянно проговорила:

– Так ведь он, бедолага, небось и сам не знает. Наверное, совсем с разума сбился, на части разорвался: и та по сердцу, и другая!

– Так не бывает, – покачала тогда головой юная, неопытная Сашенька Русанова. – Говорю вам, так не бывает!

– Много ты знаешь! – хмыкнула девушка. – Не бывает... Как же иначе быть может, коли мы с Райской обе-вместе свечки Варваре-великомученице на любовь до гроба ставили и молебны за здоровье заказывали! А если в часовне Варвары-великомученицы – вон в той, в кирпичной, что на Варварке, – поставить свечку на смертельную любовь, а потом молебен во здравие своего милого заказать, он в тебя непременно влюбится по гроб жизни. Не слышала, что ли?

И Александра сейчас взяла да и рассказала Клавке ту старинную историю. Та зачарованно выслушала и понимающе покивала:

– А что ты думаешь? Такое сплошь да рядом случается. Мужики – они страх до чего неверные! Наша-то сестра как в кого сердцем вопьется, так и держится, держится за своего единственного, а они, мужики, я говорю, ну чисто петухи, козлы и обезьяны! Эх, жаль, шибко далеко та часовня. Я б тоже свечку поставила, даром что все это – опиум для народа... Ну ладно, теперь спать давай, подруга. У тебя есть чем накрыться?

Александра пожала плечами – ее бушлат остался в бараке.

– Ложись к стенке, – скомандовала Клавка, указывая на дощатые нары, – да ко мне крепче жмись, так и согреемся. Ты не бойся, я к бабам равнодушная!

Может, следовало испугаться или нравственно ужаснуться, но Александру почему-то обуял нервический смех. Клавка некоторое время глядела на нее насупясь, а потом тоже стала мелко хихикать. Так они какое-то время смеялись да смеялись, но вскоре усталость взяла свое, и Александра, согревшись, уснула за Клавкиной плотной спиной и под полой бушлата, которым та ее накрыла.

Утром, разминая косточки и потягиваясь, Клавка проговорила, зевая:

– Ну чисто с маманьей родной переночевала. До чего тепло было! Тебе сколько лет, а?

Александра посчитала и ужаснулась. Однако врать постыдилась и призналась:

– Сорок два.

– Ну, ты еще молодая, – великодушно сказала Клавка. – Моей маманье шестьдесят. Должно быть так, коли жива. Давненько я о ней ничего не слышала... У нее нас шестеро, я последыш. Поскребыш неожиданный. Оттого, видать, и уродилась такая шалавая, прочие-то люди как люди... Ладно, ты вот что: если что не так, сразу мне пожалуйся. Я тебя из любой беды выручу. Мы, «люди»⁴, посильнее, покрепче, чем ваши контрики. И начальство нас побаивается. Вы – народишко безнадежный, а мы на перековке, из нас еще можно сделать полноценных членов общества!

При последних словах она сделала такой жест, что Александра сперва оторопела, а потом покраснела.

– Нет, – с ноткой жалости сказала Клавка. – В маманьи ты мне не годишься. Тебя саму еще учить да учить! Но в обиду я тебя не дам, помни!

К вечеру гнев Мельникова прошел, и драчунный, а также проштрафившихся старост водворили обратно в зону.

– Построиться! – скомандовал начальник. – Нашему лагмедпункту, попросту говоря сан-части, нужны квалифицированные медработники.

По рядам прошел шорох.

⁴ Так на аргю называется воровской мир. (Прим. автора.)

– Тихо! – рыкнул Мельников и повторил: – Ква-ли-фи-ци-ро-ван-ные, говорю я! Никакой самодеятельности! Там два профессора, они всякий обман живо раскусят. И если кого вернут как несправившегося, того сразу в карцер. Так что кто здесь квалифицированный?

Ряд женщин весь качнулся вперед, потом отпрянул, выровнялся – и впереди оказалась одна Александра.

– Во, глянь! – восторженно воскликнула Клавка. – Ну я ж говорю: чистая маманья!

Так Александра была зачислена в медсестры «лагмедпункта, попросту говоря – санчасти» и получила прозвище Маманья.

Наутро Мельников велел ей прийти познакомиться с докторами.

– Ленинградские они! – выдохнул он почтительно, прижмутив глаз. – Самые настоящие!

«Надо же! – изумилась Александра. – Он их уважает! Не только уркаганских, но и ленинградских уважает!»

Она уже прошла полпути до санчасти, когда заметила – что-то изменилось по сравнению со вчерашним днем. Что-то лишнее появилось вокруг... Да вот что! Еще один забор ставят вокруг зоны. Дощатый, да такой высокий, что весь лес закрыт будет. А лес-то красивый...

Оглянулась на конвойного, провожавшего ее:

– Забор строят? Зачем?

– Затем, что война, – наставительно сообщил конвоир. – Чтобы вы не сбежали к противнику, вот вам забор.

– Какая война? Давно? С кем? – не поверила Александра.

– С немцем...

Так она узнала о войне, которая шла уже который месяц. А они-то голову ломали, отчего здесь репродукторов нет на столбах. Оказывается, их сняли, потому что война.

* * *

Спустя час Ольга перешла поле и приостановилась на краю отсыпанной щебенкой дороги. У нее так теснило в груди, словно все это время она ни разу не перевела дух. Да и в самом деле – с замиранием сердца наклонялась над лежащими людьми и с тем же замиранием выпрямлялась, снова и снова не находя признаков жизни. Так и не нашла никого живого. Десять мертвых лежали на том поле. Четверо мужчин, шесть женщин.

– Схожу в церковь в Высокове и поставлю десять свечек за упокой, – пробормотала она и испугалась звука своего голоса. Показалось, она кричит... Да нет, это не она, это со стороны завода доносятся крики, нет, вопли, стоны, рыдания...

Ольга, мелко, трудно дыша, повернулась и посмотрела на черно-красное облако, которое по-прежнему реяло над развалинами завода. Правда, теперь сквозь него можно было что-то разглядеть. Вокруг теснились пожарные и санитарные машины, а вместо завода был огромный котлован, из которого торчали доски от деревянных перекрытий. Вверху дыбились горы покореженной железной арматуры, балок, врезавшихся друг в друга. Ольга не поверила глазам, когда увидела людей, висевших на этой арматуре, защемленных ею за руки, ноги, туловища.

Некоторые были неподвижны, некоторые бились в железных тисках.

Ольга зарыдала в голос и кинулась вперед. Завод уже оказался оцеплен милицией и солдатами, но какой в том был смысл, если пропускали всех, кто хотел и мог помочь несчастным? Ольгу пропустили сразу, как только она сказала, что медработник. Правда, ее медицинским знаниям тут не нашлось применения. Она только и могла, что таскала какие-то обломки стен, доски, тянула из развалин людей, живых и мертвых.

Вокруг котлована кипело море народу. Здесь успели собраться уцелевшие рабочие завода, жители соседних деревень, тех же Дубёнок, медработники со «Скорых», солдаты. Они вытаскивали из-под обломков уцелевших людей. Некоторые были так крепко защемлены

железными балками, что требовались сварочные аппараты, чтобы их вытащить. И все время из-под обломков, из глубины завалов доносились стоны и крики, но добраться до этих людей было невозможно, они были обречены.

Как всегда, нашлись те, кто знает все больше и лучше остальных. Говорили, что все фашистские самолеты, прорвавшиеся к городу, были без опознавательных знаков, оттого и запоздало оповещение ПВО. Говорили, что штурман, конечно, рассчитывал сбросить бомбу на центральную часть завода, чтобы вывести его из строя. Однако силой ветра бомба была отнесена на несколько метров вперед и уничтожила цеха с работавшими в них людьми.

То и дело выкрикивали имена тех, кого находили живыми или мертвыми. Ольга слышала, как называли фамилию директора завода Кузьмина, главного энергетика Филиппова, начальника телефонной станции Петрова, редактора многотиражной газеты «Ленинец» Сердитых, начальника отдела кадров Конюхова. Число погибших подходило к сотне, а уж раненых-то и вовсе было не сосчитать.

Стемнело. Котлован окружили автомобили со включенными фарами. Спасательные работы продолжались.

– Девушка! – Кто-то дернул Ольгу за рукав. Она оглянулась, отвела от лица сбившийся, забитый пылью платок. – Вы не видели тут... Ольга?! Ты?!

Голос показался знакомым. Ольга протерла запорошенные кирпичной пылью и известкой глаза.

Это был Николай Монахин.

– Оля... Ты жива!

Он стоял и растерянно улыбался, до нелепости внушительный и нарядный в своей шинели с голубыми петлицами.

– Оля!

Схватил ее под руку, повел прочь от котлована. Она еле передвигала ноги, спотыкаясь, чуть не падая. Упала бы, но Николай держал крепко.

– погоди, куда ты меня тащишь?

– Домой.

– Я не могу уйти! Там люди!

– Ты что, не слышала? Подъехали новые бригады спасателей. Передавали же по радио, что все, кто начал работать днем, могут разъезжаться по домам, отдыхать. Не слышала?

– Нет. Я ничего не слышала.

В самом деле, так стучала кровь в ушах, что немудрено было не услышать ничего другого...

– Да ты еле стоишь! Господи, бедная моя... Поехали. У меня здесь машина.

– Какая?

– Ну какая... Какие машины бывают? На четырех колесах! Притормозил какую-то полуторку, дал шоферу денег. Надо надеяться, дождется, не удерет.

– Ты как здесь оказался?

– Тебя искал.

– Меня?!

– Ну да! Ты ведь уехала утром. Всем известно, что Лензавод разбомбили. Твои там с ума сходят.

– Откуда ты знаешь?

– Да я приехал к вам, а тетя Люба почти без сознания от слез, за день постарела до неузнаваемости, у деда сердечный приступ. Их там какая-то тетка отхаживала, которая вместе с тобой была на строительстве укреплений – их, оказывается, всех оттуда вывезли, новую смену послали. Сказала, что надо на работу в госпиталь выходить, там начальство удивляется, отчего тебя нет, послало ее искать тебя.

– В госпиталь? – растерянно повторила Ольга. – А я думала, меня выгонят... я другую работу стала искать...

– Да, мне говорила тетя Люба, – с досадой сказал Николай. – Что за глупости с этой твоей работой!

– Как – глупости? – Ольга от изумления даже остановилась. – А на что мы жить будем, если я не стану работать? Что же, с голоду умирать?

– Да зачем же с голоду? – Николай остановился, резко повернул Ольгу. Прижал к себе, сдвинул несчастный тети-Любин платок, превратившийся в грязную тряпку, сплошь забитую кирпичной пылью, отвел со лба грязные пряди. – Господи, какая ты... Что за напасть на меня напала? Как ни встречу тебя, ты страшнее черта: то с окопов, то здесь роешься. А мне никого, кроме тебя, не нужно, понимаешь? Идти по жизни только с тобой хочу! Думаешь, я зачем приехал к вам сегодня? Я свататься приехал! Замуж тебя звать! Ты меня выгнала в прошлый раз, гадостей наговорила, а я не могу без тебя. Будь моей женой!

Ольга вдруг так ослабела, что почувствовала: еще мгновение – упадет без сознания. Ноги подкашивались. Она почти висела на руках Николая. Он отпустит – она упадет.

И все же слабо пробормотала:

– Отпусти. Сейчас не время об этом говорить. И не место. Давай хотя бы отойдем подальше.

– Да какая разница, когда и где об этом говорить?! Сейчас везде война. Везде одинаковая война! А жизнь идет, не останавливается.

«Как не останавливается? – смятенно подумала Ольга. – А у тех людей, которые остались в поле лежать убитыми, разве она не остановилась? И у тех, кого мы вытаскивали из-под развалин? Неужели Колька не понимает? Или это потому, что он летчик? С высоты не видно земли, не видно мертвых!»

И все же Николай послушался – умолк, пошел к дороге, пробираясь среди множества машин, по-прежнему поддерживая, почти таща Ольгу.

– Да где она, та полуторка? Ага, вон! – замахал свободной рукой. – Эй, вот я!

– Летчик? – раздался рядом хриплый мужской голос. – Ты летчик, да?

– Ну... – Николай оглянулся на вцепившегося в его рукав невысокого мужчину в ватнике и глубоко надвинутой кепке. Даже в мечущемся свете фар было видно, что его лицо и одежда забиты кирпичной и известковой пылью.

«Вот и я такая же», – равнодушно, устало подумала Ольга.

– Ле-етчик... – протянул мужчина. – Ишь, какой ты пышный! Истребитель, да? А почему ж ты их не истребил, тех, которые нас сегодня истребили? А? Или ты в казарме водку пил, пока нас тут заживо на части рвали? Где вы были, истребители? Почему город грудью не защитили, а, сталинские соколы? Мать вашу в задницу вместе со Сталиным!

– Ты думай, что говоришь, дядя! – рявкнул Николай, отталкивая напавшего на него мужчину. – За такие слова можно, знаешь...

– Что? – тихо спросил тот. – Можно – что? Чем ты меня еще пугаешь, когда у меня под развалинами две дочери остались? Они, девчонки, вкалывали до седьмого пота, до кровавых мозолей, чтобы нашу армию и флот содержать и кормить. Защитников своих! А где вы, защитники? Нам всегда говорили: наша армия – армия героев, воевать будем малой кровью на вражеской территории, а Гитлер – сволочная мелюзга. А что теперь?! Война у нас на задах, сволочная мелюзга бьет нас насмерть, а герои спиртягу хлещут, пока нас тут убивают!

– Тебе дыхнуть, что ли? – клопочущим голосом, видимо, сдерживаясь из последних сил, прорычал Николай. – Какую спиртягу? Чего несешь? Да если хочешь знать, к городу сегодня сто пятьдесят бомбардировщиков рвались! Сто пятьдесят, понимаешь? А прорвались только четырнадцать! Ты думаешь, кто их не пустил, всех остальных? Мы, истребители. В том числе я.

– Только четырнадцать? – спросил мужчина. – Да ты что, спятил, командир? Какие четырнадцать? Нам одного хватило, видишь? Он две бомбы сбросил – всё! Он знал, куда летел, знал, куда бросал. Почему его пропустили? Почему ты его пропустил?

– Да я в бою был до последнего патрона! – крикнул Николай. – Понял? Я на гашетку давил до тех пор, пока из ствола пар не повалил! Только когда понял, что стрелять нечем, тогда и ушел на аэродром. Что ж мне было делать, если боеприпасы кончились? На кулачках с фашистом драться? Да откуда ж я знал, что он, сволочь такая, сбросит бомбы на цеха с людьми?!

– А ты, конечно, думал, что он их в Волгу бросит, аккуратно посередине... – кивнул мужчина. – Ты думал, он эти бомбы несет, чтобы рыбку глушить...

– Да ладно издеваться, – буркнул Николай, – здесь, на земле, вы все горазды на подвиги, а ты там, в небе, попробуй-ка... Без боеприпасов попробуй! Оля, пойдем. Пойдем, говорю! Всех, знаешь, не переспоришь.

– Слушай, нет, ты погоди... – твердил мужчина, по-прежнему держа его за рукав. – Нет, ты мне объясни... Вот это девушка твоя, да? Да?

– Невеста, – буркнул Николай.

– Я еще не... – начала было Ольга, но Николай так сильно стиснул ее пальцы, что она замолчала, ойкнув.

– Невеста, значит, – повторил мужчина. – Ладно, хорошо. Вот идешь ты со своей невестой по улице, и налетает на вас хулиган. В руке у него пистолет. И целится он в твою невесту. А у тебя оружия нет. Что ты сделаешь, а? За милицией побежишь?

– Да я за нее жизнь отдам! – с яростью проговорил Николай, кивнув на Ольгу. – Жизнь отдам, и никакого оружия мне не понадобится! Руками буду рвать и зубами!

– Жизнь отдашь, значит? – повторил мужчина. – А ты на нее посмотри. Посмотри, ну! Ты сейчас ее откуда уводишь? Из парка на Откосе? Из кинотеатра «Рекорд»? Из Дома культуры имени Свердлова? Нет, милоч! Ты ее уводишь от разбомбленного завода. Ты на нее посмотри! Она здесь была, когда бомбежка началась. Была ты здесь? – резко повернулся он к Ольге.

Она кивнула.

– Была, я так и думал... Была, только чудом спаслась. А ведь могла там, – он кивнул в сторону страшного котлована, – лежать. Вместе со всеми... вместе с моими... С дочками моими! Что ж ты не кинулся ее защищать? Что ж ты не рвал руками и зубами того фашиста, который летел ее убивать? А?!

– Так я ж не знал, что она здесь! – обиженно, как мальчишка, выкрикнул Николай – и осекся.

– Эх, летчик ты, летчик... – пробормотал мужчина, тяжело опуская голову. – Ну ладно. Иди, живи... живи, если сможешь... Иди вместе со своей невестой.

И он, махнув рукой, понуро зашагал к котловану.

– Мать твою! – рявкнул Николай. – Да что ж такое творится, а? Да я... да мы... – Он захлебывался от возмущения. – Вот же люди, а?! Ну в чем я виноват? Этак он меня будет винить за то, что фрицы пол-России уже захапали! Ладно, черт с ним! – Он погрозил в сторону котлована кулаком. – Черт с ним! Вот гад, всю душу оплевал... Пошли, Ольга. Да идем мы, идем! – крикнул, услышав нетерпеливый гудок полуторки.

– Иди один, Коля, – сказала Ольга и с силой выдернула свои пальцы из его ладони. – Иди один!

– Как это? – спросил Николай непонимающе. – Куда идти?

– По жизни, Коля, – ответила она через плечо. – По жизни один иди. Без меня. Не была я твоей невестой и не буду никогда, понял? Прощай!

И, отпрянув от него, смешалась с толпой, окружившей котлован.

* * *

– А не получится так, как в прошлый раз? – спросил Поляков.

– А как было в прошлый раз? – оглянулся на него сидевший на переднем сиденье подполковник Храмов, заместитель начальника отдела. Он был переведен в Энск всего две недели назад и, понятно, мог не знать о том, что случилось до него.

Водитель Тарасов, мигом сообразивший, о чем речь, хихикнул – впрочем, почтительно, едва слышно, исключительно ради того, чтобы создать у своих пассажиров впечатление, что он не просто винтик своего автомобиля, но человек, облеченный особым доверием начальства и посвященный во многие такие дела, в которые – вы только подумайте! – не посвящен и сам товарищ подполковник. Ну что ж, поскольку Тарасова в ведомственном гараже на улице Воробьева с «эмки» пересадили на «Паккард», ясное дело, что особого доверия он вполне достоин.

– Был случай в Запашихе, – пояснил Поляков. – Как раз накануне фашистские самолеты к Энску прорвались, кружили над Автозаводом, но отбомбиться не удалось: кого сбили, кто ушел. И вот один из этих ушедших промчался с ужасающим грохотом над Запашихой и скрылся. Уже наступали сумерки. Бабенки, которые прятались в подполах да под крылечками, высунулись – и увидели на фоне серого неба над кронами деревьев парашют с темным силуэтом. Решив, что это диверсант, подняли весь боевой состав деревни и по телефону вызвали нас.

– Какой же там боевой состав? – удивился подполковник.

– Ну, бабы, мальчишки – известно какой, – пожал плечами Поляков. – Вдобавок у них там жил некий престарелый вояка – ветеран Гражданской. Работал в школе инструктором военной подготовки, учебное *ружжо* у него сохранилось – времен империалистической войны. Выстроив бабенок у крыльца конторы, стал он их обучать, как обращаться с оружием...

– С этим *ружжом*, что ли? – усмехнулся Храмов.

– Ну да, что имелось в наличии, то и осваивали. Наконец ветеран счел боевую подготовку законченной и повел группу захвата в лес. Всю ночь его команда прочесывала лес, и только когда стало светать, на одном из деревьев кто-то увидел парашют с длинным узким цилиндром зажигалки. К счастью, она не взорвалась. На фоне вечернего неба зажигалку приняли за человека. Так что обошлось!

– Комедия... – пробормотал подполковник.

Поляков кивнул, подумав, что для него та поездка обернулась трагедией – трагедией в Кузнечной пристани. И в очередной раз проклял себя за то, что не вырвался к дяде Грише раньше, не увез его со строительства укреплений.

Вместо него вывез оттуда Ольгу Аксакову.

«Интересно, уехала она из города или вернулась в госпиталь? Теперь многие уезжают, после того, как разрешили свободную эвакуацию женщин и детей. Раньше-то эвакуация запрещалась под страхом репрессий! Это и называется – хорошая мина при плохой игре. Оставить детей и женщин под бомбами – значит признать, что мы непобедимы. Чуть собака!»

Как всегда, от таких мыслей взяла тоска, и Поляков уставился в окно, будто надеялся разглядеть там что-то веселое.

Какое веселое в это такое непогодье?!

Стекла машины затянуло рябой пеленой. Зима наступала, отступала, снова наступала. То ли никак не могла одолеть осень, то ли ленилась войти в силу. После первых заморозков потеплело, на деревьях кое-где еще держались зеленые листья. Они были накрепко прихвачены морозом и увяли, однако впечатление производили нарядное, этакий привет минувшего лета. Ближе к концу декабря вдруг заглодало, выпал снег, но тетя Паша, соседка Полякова,

уверенно говорила: «И этот сойдет, только третий ляжет!» Так и вышло: внезапно потеплело снова, дождь схватился со снегом и пересилил его, снова кругом сделалось грязно, скользко и зябко. Декабрь называется!

Машину занесло.

– Ну и дорога, – виновато пробормотал Тарасов, выравниваясь.

– Ну и бездорожье, – уточнил подполковник. – У вас есть закурить, майор? Забыл папиросы.

Поляков протянул пачку «Норда».

– Ишь ты! – удивился Храмов. – В спецторге брали?

– Да.

– Надо жену туда отправить. Самому недосуг. Да и ей, правда, тоже. Она учительница, вечно времени нет. Чуть что – «у меня тетрадки», «у меня классный час...». Конечно, новое место, новая школа. Совершенно забросила мужа, – проворчал подполковник, без малейшего, впрочем, оттенка раздражения. Видно было, что он любит жену и гордится тем, что «у нее тетрадки, у нее классный час». И даже то, что она «забросила мужа», его нисколько не злит.

– Мне проще, – усмехнулся Поляков. – Соседка в спецторг бегают. Она пенсионерка, для нее это развлечение.

«А вдобавок перепадает от пайка», – не сговариваясь, подумали все.

Ну так само собой. А что такого? Дело житейское, особенно сейчас, в войну.

– Вы не женаты? – спросил подполковник.

– Нет.

– А что так?

– Да так как-то, – пожал плечами Поляков. – Не нашел еще.

– Или вас не нашли, – сказал подполковник.

– Или, – согласился Поляков.

– Вам лет сколько? – спросил Храмов.

– Я с седьмого года.

– Ого! Тридцать четыре! Как же вас еще никто не поймал на крючок? – удивился подполковник.

– Не могу знать, товарищ подполковник! – холодно ответил Поляков, и Храмов счел нужным как можно глубже затянуться, чтобы скрыть неловкость: ему очень откровенно дали понять, чтобы не лез не в свои дела.

Тарасов, который отлично знал, что поголовно все незамужние буфетчицы, телефонистки, машинистки и прочий женский состав Энского управления НКВД (и от них не отстают дочки и сестры сотрудников) не просто беспрестанно закидывают крючки, но и ставят сети, чтобы уловить в них майора Полякова, покосился на него в зеркало со скрытой насмешкой. «Такого небось поймаешь! – думал он. – И что бабы в нем находят? Тощий, злой, глаз черный, как у дьявола... Бабы ласку любят, что кошки, а от этого разве дождешься ласки?! А вот знать бы, что у него с той, которую мы из Кузнечной пристани увезли? Уж больно страшная она была по сравнению с нашими-то кралечками... Ох, Тасечка-буфетчица, ох, спасу нет... Вот кралечка! Так бы и сожрал всю! Как она за ним увивается, за этим майором, а он будто каменный!»

Машину снова занесло, и Тарасов, позабыв про каменного майора Полякова и Тасечку-буфетчицу, стал внимательней смотреть на дорогу.

Пассажиры курили молча, размышляя о том, что предстоит...

Час назад из Чкаловска сообщили о появлении самолета, который сбросил четверых парашютистов. Их не заметили – стояла глубокая безлунная ночь, – однако под утро в райотдел милиции, не сговариваясь, порознь явились трое из них. Явились с повинной – заброшены из

тыла врага с целью осуществления разведывательной и диверсионной деятельности. Четвертый парашютист исчез.

Поисковая группа вышла в лес. Храмов и Поляков должны были работать со сдавшимися парашютистами.

Скоро «Паккард» и следующая за ним «эмка» с другими сотрудниками НКВД остановились возле двухэтажного каменного дома в Чкаловске. Полякова отвели в неудобный, плохо освещенный кабинет. В соседнем кабинете устроился Храмов.

Парашютистов приводили по одному, но они были похожи: серолицые от усталости и страха, с воспаленными от бессонницы глазами. И вопросы им задавали похожие:

- Ваши фамилия, имя, отчество?
- Место рождения?
- Где призывались в армию?
- Кто из родных жив, чем занимаются?
- С каким заданием прибыли? Где проходили подготовку?
- Кто руководил вашим обучением?
- Назовите четвертого в группе. Опишите его.

Торопились: этот четвертый, находившийся невзвест где, тревожил. А ведь у него рация. Он может связаться со своим центром и сообщить, что трое его спутников исчезли, вполне возможно, перебежали к большевикам. Между тем Полякову и Храмову, ведущим допросы агентов, было с самого начала предписано: искать среди них человека, который готов был бы вести двойную игру, работать на советскую разведку, посылать немцам дезинформацию.

Возможно, эти трое просто хотели спасти свои жизни. В таком случае их ждал только лагерь. Но у того, кто решился бы стать «двойником», появлялся шанс другого исхода.

В углу кабинета, в котором работал Поляков, за отдельным столом сидел младший лейтенант Пестряков. Он вел протоколы допросов. Вообще-то это был неплохой парень, не злобный, не завистливый, не скрытый стукач. Если уж говорят, что сослуживцев, как и родителей, не выбирают, Поляков считал его наименьшим злом и сначала был даже рад, что ему в помощники определили именно Виктора Пестрякова. Но сейчас Пестряков мешал, страшно мешал. Его неприкрытое, нескрываемое отвращение к людям, которые позволили врагу взять себя в плен, а потом дали согласие сотрудничать с ним, отражалось на его лице и наводило тоску на парашютистов. Наводило их на сожаления, что поддались порыву, что сдались, что откровенничают теперь, душу выворачивают наизнанку перед энкаведэшниками. Какой смысл, если им все равно не верят и не поверят? Используют, выкачают сведения – да и шлепнут тут же, в Чкаловске, даже в Энск не повезут...

Они замыкались, они замолкали, они впадали в истерику.

Полякова так и подмывало выгнать младшего лейтенанта, но он не мог. Во-первых, нужен был секретарь, а кому попало такое дело не доверишь. Во-вторых, согласно жестким правилам, еще более ужесточившимся в военное время, работать с перебежчиком один на один не имел права ни один из сотрудников. Начальство боялось обратной перевербовки. В том смысле, что вдруг не мы их, а они – нас...

Приходилось терпеть Пестрякова. Все, что мог Поляков сделать, – это переставить стул, на который усаживали парашютистов, так, чтобы они не видели негодующей физиономии младшего лейтенанта.

Вообще-то судьбы этих троих складывались примерно одинаково: попали в окружение, пытались выйти, потом – внезапный налет «превосходящих сил противника», ранение и плен. Сорваны знаки различия, снят ремень, вчера ты еще был солдатом, а теперь стал пленным, у которого нет ни имени, ни фамилии – только номер. Номер лагерника.

В лагерь, где держали пленных, часто приезжали вербовщики. Кто-то проповедовал господство немецкой расы над миром, пророчил скорейшее уничтожение «недочеловеков».

Чтобы получить пропуск в «человеки», следовало немедленно пойти служить фашистам. Приезжали русские из эмигрантов или добровольно сдавшихся еще в начале войны, бывшие офицеры, призывавшие вступать в РОА – Русскую освободительную армию. Иногда пленных просто вызывали из строя наудачу и били смертным боем – до тех пор, пока они не соглашались поступить на службу рейху.

В общем-то, выбор был невелик: предательство или смерть. Ну, не убьют сразу, все равно сдохнешь в этой ржавой колючей паутине, которая оплела лагерь со всех сторон, загнешься в бараке от голода и холода, а не то подстрелят тебя из пулемета, который стоит на вышке: ствол его денно и ночью смотрит на толпу узников. Выбор был невелик, и многие соглашались. Кто-то из страха, что убьют за отказ. Кто-то из невыносимости жизни в лагере. Кто-то ненавидел Советскую власть и готов был на все, чтобы расквитаться с ней за все обиды, которые от нее претерпел. Обид было много, и таких, что смыть их можно было только кровью «жидов та коммуняков». Как правило, такие люди сами сдавались в плен и служили фашистам надежней других.

«Я был бы среди них», – думал Поляков, который с самого начала войны не переставал подавать заявления с просьбами, а потом и с требованиями послать его на фронт. Судьба их постигала та же, которая в свое время постигла приснопамятное заявление об отправке в Испанию. Поэтому он и подумал: «Я был бы среди них!»

Почему-то вдруг стало тошно от этой мысли...

Поляков отогнал ее и продолжал слушать человека, который назвался Михаилом Климовичем Каменевым. Он был радистом. По фальшивым документам – Михаил Михайлович Фомин. Позывной – Проводник.

Никто из перебежчиков не запирался, все говорили откровенно, однако в словах этого Проводника ощущалась особая искренность. Не истерический надрыв, а твердость. Он рассказывал о том решении, к которому пришел он и, наверное, другие – судя по поступку его товарищей по группе, немедленно после приземления пришедших в милицию. Решение было такое – завербоваться, чтобы выжить. Пройти обучение, быть заброшенным в советский тыл – и явиться с повинной. Может быть, поверят. Может быть, сохранят жизнь. А нет – эти люди считали, что лучше умереть на Родине.

На Родине!..

В сталинском лагере, который они считали роднее фашистского.

Поляков за долгие годы своей жизни «в тылу врага» (так он называл это про себя) привык отменно контролировать мимику и выражение глаз. Да уж, Пестрякову до него было далеко, как до небес.

Умереть на Родине...

Родина. Россия.

Мать-и-мачеха. Это не цветок. Это Россия!

И снова тоска, словно раскаленная игла, кольнула Полякова в сердце. Та самая тоска, которая терзала его уже давно. С июня месяца. С двадцать второго числа.

И привычным усилием воли он вырвал эту иглу.

– Продолжайте, Проводник, – только и сказал он, и сидящий перед ним человек как должное воспринял то, что его называют не по фамилии (и, уж конечно, не по имени-отчеству), а кличкой, присвоенной ему фашистами.

Теперь он рассказывал о разведывательной школе для подготовки диверсантов из числа советских военнопленных.

Поляков уже слышал о ней. Приходила информация из Москвы. Школа была создана адмиралом Канарисом в окрестностях Варшавы (в местечке Суленовек, на улице Падеревского) еще в октябре 1941 года. Она, как и другие разведшколы, предназначенные для подготовки агентов к работе в советском тылу, находилась в непосредственном подчинении у

действовавшего на Восточном фронте разведывательно-диверсионного органа, условно именуемого «штабом Вали». Выходило, что Проводник и его спутники были чуть ли не первыми «выпускниками» разведшколы. Сведений о ней пока еще было мало, только самая общая информация, поэтому Поляков слушал Проводника особенно внимательно.

Штаб и канцелярия школы располагались в белом четырехэтажном здании бывшего приюта для престарелых, а для общежитий и классных помещений будущих диверсантов и разведчиков (их было около трехсот пятидесяти человек) построили деревянные бараки в сосновом лесу по другую сторону улицы Падеревского. Общежития разведчиков-ходовков и разведчиков-радиостов были отдельными и отгорожены забором. Немецкие офицеры и солдаты караульной команды обитали на даче, некогда принадлежавшей самому гетману Пилсудскому.

Проводник рассказывал, что штаб снабжен мощной радиостанцией – вокруг высятся шесть радиомачт. Обучением разведчиков-радиостов руководил инструктор по радиodelу, которого все называли просто Готлиб. У него когда-то была перебита правая рука, она неправильно срослась, так и оставшись согнутой в локте. Коренастый брюнет с маленькими, узко сдвинутыми к переносице глазами, он работал левой рукой – работал, что называется, круглосуточно! Готлиб не покидал территорию школы, его редко видели во дворе – он проводил все время в классе, изводя курсантов своим педантизмом, добиваясь четкой работы на высоких скоростях.

– У нас болтали, от Готлиба сбежала молодая жена из-за того, что добрую половину медового месяца он провел за ключом, – с усмешкой сказал Проводник. – Но учить он умел, что да, то да. Он выработал у нас отличный профессиональный почерк.

– И у вас тоже? – спросил Поляков.

– И у меня.

Проводник продолжал рассказывать о разведшколе.

На ее территории стояло двухэтажное каменное здание. На втором этаже находилась специальная мастерская, где фабриковали фальшивые документы для агентуры, забрасываемой в советский тыл. Имелась здесь и фотолаборатория.

Для создания фальшивых документов была создана специальная команда «1 Г». В нее входили несколько немцев – граверов и графиков – и русский «консультант» – военнопленный, знающий советское гражданское и военное делопроизводство. Команда «1 Г» собирала и изготовляла наградные знаки, штампы и печати. Однако ордена и бланки паспортов и партбилетов команда «1 Г» получала из Берлина.

Судя по тем документам, которыми снабдили Проводника и его «товарищей по работе», качество подделки было отменное. Поляков поклялся бы, что на первый взгляд их почти невозможно отличить от настоящих. Диверсанты были также отлично экипированы. При «штабе Вали» имелись склады, портновская и сапожная мастерские, которые и снабжали агентуру военным обмундированием и гражданской одеждой.

Некий отдел «Вали-2» также приложил руку к подготовке и экипировке группы Проводника – их обучили диверсионным и террористическим действиям, снабдили взрывчаткой и детонаторами.

Словом, снарядили на славу!

Диверсанты должны были работать попарно. Проводник – радист с передатчиком, его напарник – «ходек», в задачу которого входило собирать и обрабатывать информацию для передачи в «штаб Вали».

Проводник рассказывал, что сдаться своим решил сразу. И притворялся из всех сил убежденным врагом Советской власти. Заодно присматривался к «однокурсникам» – и не мог понять, кто притворяется так же, как он, а кто – искренний враг. Но общению во время обучения в школе тщательно препятствовали. О том, куда и с кем в паре будут забрасывать, стало известно только перед самым вылетом. В самолете диверсантов было четверо, а при них

находился инструктор, который пристрелил бы любого при малейшем подозрении, даже при попытке начать что-то обсуждать между собой.

В каждой двойке имелись рация, фальшивые документы, запас продуктов и денег на первое время. Биографии диверсантов были тщательно продуманы. Агенты накрепко затвердили пароли, позывные, шифр. И каждый из них со страхом смотрел в будущее и на того человека, с которым теперь предстояло работать.

Проводник сказал: он даже не подозревал, что еще двое из группы решили вернуться к своим. Они очень хорошо притворялись. Четвертый, исчезнувший, казался ему проще. Проводник почти готов был довериться ему... К счастью, так и не решился.

Теперь этот четвертый исчез.

Из Энска прибыли новые люди, чтобы усилить группу поиска, а допросы перебежчиков после короткого ночного перерыва продолжились.

– Слышали новый анекдот? – спросил подполковник Храмов, когда они с Поляковым вместе курили на крыльце, прежде чем разойтись по кабинетам. – Гитлер смотрит на свой портрет и говорит: «Адольф, Адольф, что теперь с тобой будет?» А портрет утешает Гитлера, мол, ничего особенного, мы только поменяемся местами: меня снимут, а тебя повесят.

Поляков улыбнулся.

– Не смешно? – обиделся подполковник. – А по-моему, смешно.

В самом деле, было смешно, только Поляков никогда не смеялся громко. «Не умею, – сказал он одной даме, которая пыталась объяснить ему, почему надо хохотать, когда в фильме «Веселые ребята» все джазбандисты начинают колотить друг друга своими инструментами. – Не умею я смеяться от души!» – «А может, у вас и души-то нет?» – грустно спросила дама.

Это точно!

– Только не говорите, что вы его уже слышали, – продолжал Храмов. – Совсем свежий анекдот! Мне его сегодня утром рассказал адъютант начальника отдела, когда соединял с Энском.

– Товарищ полковник звонил?

– Да, звонил и спрашивал, как наши дела. Его Центр торопит... Знаете, что получается? Вся наша надежда сейчас на Каменева.

– На Проводника? – уточнил Поляков, сразу понявший, что имеет в виду подполковник.

Оказывается, ночью в Энске была получена шифрограмма из Москвы: во что бы то ни стало подготовить одного из агентов для связи со «штабом Вали». И понятно же: для того чтобы регулярно снабжать противника ложной информацией, сбивать его с толку, путать ему карты, нужен именно агент-радиист, готовый работать под диктовку.

– Через два дня самое большее он должен выйти на связь с радиоцентром разведшколы. Подтвердить, что благополучно приземлился и нашел пристанище, сообщить свои координаты – словом, начать запланированную работу. А его напарник должен начать сбор данных. Ну, данные-то мы за него соберем как пить дать, – усмехнулся Храмов, – а вот радиосеанс нам не провести. Нужен почерк Проводника, тот самый почерк, который так тщательно ставил пресловутый Готлиб... Как думаете, можно с ним рискнуть, майор?

Поляков пожал плечами, отбросил окуроч, закурил новую папиросу. Он настолько привык скрывать свои чувства от других, что подчас и сам не мог в них разобраться.

Радиоигра с участием Проводника... Это была отличная возможность не только для советской разведки поставлять дезинформацию фашистам и тем самым хоть в какой-то степени влиять на ход войны. Это была возможность также для него, Полякова, – установить наконец связь с тем миром, о котором он мечтал долгие годы.

С другим миром. Не советским, не большевистским. Не красным!

С другим миром. Но... с каким?

Раньше он знал ответ точно. С миром свободным. Война все переставила с ног на голову. Теперь, получается, он хотел установить связь с фашистами? Он хотел служить врагам?

Ну да, если их цели совпадали с его целями...

Если совпадали. А если нет?

Поляков отнюдь не был глупцом, он не обольщался. Освобождение России от «жидома-сонского ига» меньше всего волновало Гитлера. Это самое «иго» заботило его лишь постольку, поскольку являлось препятствием на пути к мировому господству. Лишь постольку, поскольку «жиды и комиссары» управляли Россией. Ну да, они ею и правда управляли, они ее поработили... Но предположим, что фашисты победят пресловутых «жидов и комиссаров» с помощью своей могучей армии и русской «пятой колонны». Поляков был уверен, что таких, как он, много, куда больше, чем может показаться, и не все еще сгнили на Соловках или в вечной мерзлоте – они остались и в городах, и в деревнях, выжили, затаились, с нетерпением ждут глотка свободы. Вопрос только, что за свободу принесет им Гитлер. Да неужели он будет заботиться о возвращении самодержавного правления в России? О восстановлении ее церквей, старинных барских усадеб, дворянских гнезд, порушенных большевиками? О достойном почитании памяти тех, кто был уничтожен во время Гражданской и потом, в годы непрекращающегося красного террора, о возмещении утраченного их детям? Да Гитлеру плевать на будущее этой страны! Ему просто нужна богатая, непомерно богатая территория. Недр России, ее леса, ее земля. Колония, жалкая колония – вот какое будущее уготовано стране, которая была для Полякова чужой и враждебной всегда, всю жизнь. Против которой он боролся, как мог!

И вся его уверенность в праведности этой борьбы кончилась в октябрьский день, когда он закрыл глаза дяде Грише. Григорию Охтину, бывшему агенту сыскного отделения. Тому самому Охтину, который учил Георгия Смольникова, ставшего Егором Поляковым, ненависти, непримиримости, который вместе с ним лелеял планы мщения – а потом бросил его на произвол судьбы. Причем самым невыносимым было осознать, что Охтин покинул его не в тот миг, когда умер. Их пути разошлись, когда Охтин добровольно уехал на строительство укреплений. Он мечтал защищать страну, которую ненавидел!

Или... или все-таки любил?

Тот последний спор снова и снова вставал в памяти Полякова. И постоянно вспоминались слова Охтина: «Россия – одна. Мы можем быть только со своими – какими бы они ни были, главное, что с русскими, – или с врагами. Я не могу быть с врагами. Я не могу!»

«А я? – в отчаянии спросил себя Поляков. – Что со мной происходит?!»

– Ох, как меня беспокоит этот четвертый... – бормотал Храмов, который, не дождавшись ответа от Полякова, начал разговаривать сам с собой. – Что, если он дал сигнал провала? Сигнал провала... Но ведь и Проводник может его дать! С одной стороны, он пришел к нам по своей воле. Но ведь и в разведшколу он пошел по своей воле! И он явился со стороны врага... Кто может поручиться, что, выйдя на связь, Проводник не пошлет в эфир условный сигнал: «Обнаружен, работаю под диктовку»? Ведь он сам говорил, что в школе такой вариант предусматривался. На допросе он даже назвал этот сигнал. А что, если солгал? А если даже назвал верный пароль, разве не может он передумать и предать снова?

Поляков, слушавший его вполуха, вдруг вспомнил некий ляпсус, который произошел два года назад. 1 августа 1939 года была учреждена медаль «Золотая Звезда» – знак отличия для тех, кто удостоен звания Героя Советского Союза. Первоначально на обороте медали значилась такая надпись: «Герой СС». Но уже 17 октября в газете «Известия» был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза», и тут же давался рисунок новой награды, с ее описанием, в котором оговаривалось: на обратной стороне медали надпись – «Герой СССР»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.